

**Андрей
ШИЛОВ**



СЕСТРЫ

КАРАМАЗОВЫ

Андрей ШИЛОВ
Сестры Карамазовы

«Издательские решения»

Шилов А.

Сестры Карамазовы / А. Шилов — «Издательские решения»,

Когда тихими вечерами снежинки, подобно глупым мотылькам, стучатся в окна домов, в одном из них гаснет свет, к разрисованному морозом стеклу подходит укутанная пледом взрослая девочка. За ее спиной потрескивает поленьями камин, друзья берут в руки бокалы, и согретая теплом человеческих сердец комната погружается в прошлое. Истории скользят по паркету, карабкаются по стенам, повисают на шторах. В такие вечера особенно остро чувствуется, что здесь кого-то очень не хватает.

© Шилов А.

© Издательские решения

Содержание

Ты, мое фото и будущая война	6
Человек, который проспал Конец света	10
Хачик Адамович подслушивает дождь	14
Просто Тит	15
Телефон Господа моего	22
Блюдо из Лазо	26
Должно быть, небо сошло с ума...	29
Настоящая любовь	32
Синефагия, или Автомобиль, скрипка и немножко нервно	38
Восход солнца в «Долби-стерео»	40
«Пролетарий-Люксор» представляет!	41
Город захлестнула «морская болезнь»!	43
Men-in-black: от заката до рассвета	45
«Синдром Стендаля»	47
Поспела «клубничка» – пора собирать!	48
Один фильм – одна жертва	50
«Овсянка, сэр!» – так говорил Бэримор	51
Полет валькирий над мертвым Кремлем	53
Конец ознакомительного фрагмента.	54

**Сестры Карамазовы
неРассказы
Андрей Шилов**

Посвящается моей любимой дочери Марии...

© Андрей Шилов, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Ты, мое фото и будущая война

«Феликс Эдмундович» воровато прищурился, выдержал почти театральную паузу и через долю секунды эхо механического щелчка, отразившись от желтого камня псковской железнодорожной пристани, навсегда впечатало его выбритую голову в еще недописанные страницы новейшей истории России.

– Снято, – устало процедил сквозь прогнившие зубы пожилой увалень. – С вас 10.50. За снимком – завтра после обеда.

– Ну вот, Саша! – невысокая брюнетка приятной наружности, не отрывая взгляда от своего спутника, расплатилась со стариком. – Какой ты все же смешной без кудряшек...

– Дежа вю, – перебил ее он.

– Что? – Наташа удивленно вскинула брови. – Повтори, я не расслышала.

– Не обращай внимания, показалось что-то... Будто было уже. И вокзал, и поезд зеленый, и ты, и фотограф со стареньким «ФЭДом». Будто случилось где-то... Где? И запах этот – то ли хвоя, то ли смола...

– Перестань, здесь только поездами пахнет. Да еще воровством, – Наташа на всякий случай потрогала сумочку.

Где? Где-то далеко, за ревушими коровами-локомотивами и плотоядными бездушными многоэтажками, за визгом тормозов утреннего такси и плакатом «Голосуй или проиграешь!» – далеко-далеко в изумрудных, еще не до конца высохших озерах плескалось лето, и красивые стройные женщины, обезумевшие от счастья, отдавались воде, траве и солнцу. Безумству храбрых пел песню ветер, и в воде отражались их узкие бикини. А здесь, на пыльном горячем перроне, вспотевшее людское стадо проклиняло огнедышащий июнь. У каждого были свои причины ненавидеть лето – Наташа не была исключением. Но тогда она не знала, что через сорок шесть дней, придя сюда вновь за таинственным спецгрузом, ее унесут в привокзальную санчасть на брезентовых носилках, а санитары, которые приведут ее в чувство, с сожалением скажут:

– Бывает... Жара и не такое с людьми творит. Жара...

(Хвоя. Или смола. Как быстро по пути прогресса шагает русская страна)

Здесь, на этом перроне, она не сказала ему тех нежных, нужных слов, которые рвались из ее груди подобно пуле, беспощадно выбравшей свою жертву – за мгновение до выстрела. Слов, которых он ждал.

Теперь, когда никчемная суeta расставания уже дружески похлопывала его по плечу, Наташа лишь глупо улыбалась, виновато поглаживая его шершавую щеку.

– Ты не плачь, – он крепко обнял ее. – Я знаю, война скоро кончится, увидимся. Скоро, очень скоро.

Стоявший поблизости фотограф дрожащими руками запалил «Приму», покосился на них, выпустил в пустоту пару дымных колец и как бы нехотя продекламировал:

A tale of the times of old!
The deeds of days of other years!

– Извини, отец, мы изучали французский.

– Eh bien, – добавил старик и побрел к урне.

Наташа расплакалась. Слезы смешались с тушью, а носовой платок, как назло, лежал глубоко в сумочке. Александр не стал ее успокаивать – скорее отойдет. И действительно, она быстро взяла себя в руки и перестала плакать. Вопросительно посмотрела на него.

– ??

– Не могу взять в толк, откуда этот хвойный запах, – он взглянул на часы. – Неужели не чувствуешь?

– Нет.

Оркестр заиграл марш (*или туш?*).

Через пару минут галдящая бритоголовая волна уже несла его к вагону, и последнее, что он успел заметить и навсегда запечатлеть в своей памяти, это была все та же ее глупая и виноватая улыбка.

Сквозь мутное стекло он разглядел, как Наташа махнула ему рукой. Александру показалось, что она не только прощается с ним, но и пытается отогнать от себя тот едва уловимый запах. Хвоя... Он тупо забрался на верхнюю полку, не обращая внимания на происходящее вокруг, и принялся наблюдать за бегущими огоньками в окне общего вагона. Вагон качнуло, в приемнике что-то заурчало, прорвались отдельные фразы:

...По заявкам... Против морщин... По имени...

Огоньки смешались со словами и звуками, превратившись в голубых мотыльков, вьющихся рядом. Он протянул к ним руку – мотыльки исчезли, увлекая его за собой, приглашая в последний полет переполненный вагон и горячий недавний перрон, марш (*или туш?*) привокзального оркестра и слезы Наташи, запахи, бритые затылки...

Сон превратился в скомканное, так и не отправленное солдатское письмо, и тут он проснулся. Безумно болела голова.

«Ну да, конечно, не нужно было вчера столько пить», – удрученно подумал он, не открывая глаз. Уставший за ночь разум переваривал на сковородке памяти образ вечно хмельного деда Савельича, устроившего на проводах настоящие тараканьи бега, в которых первым к финишу пришел таракан Горький, далеко позади оставив Ханюка Левина и Виктора Пелевина.

«Бедный, бедный дед Савельич! Что-то с ним сейчас?»

Александр открыл глаза – над ним пугающе зависла черная и бесконечная пустота.

«Странная ночь, тихая», – подумал он, пытаясь перевернуться со спины на левый бок. Где-то над ним зашуршала листва, и тут же на лицо его посыпался песок. Или...

«Но откуда?» – удивился он, ощутив на губах характерный привкус чернозема.

Попытался приподняться, но только больно ударился лбом о нависшую над ним пустоту. В животе тоскливо заурчало. Он закрыл глаза, стараясь не шевелиться, но когда затекли конечности, левой рукой

(«*почему болит правая?*»)

осторожно ощупал черную пугающую плоскость над головой. И вскрикнул, больно занозив палец.

«*Господи, это же свежеструганная сосна!...*»

Он вновь ощупал доску и ужаснулся – доска была не одна: справа плотной стеной громоздились точно такие же крепко сбитые доски. И слева. Голова раскалывалась. Мысли путались. Сквозь гремучую смесь приторного соснового аромата и сырого запаха земли послышался далекий и жалобный лай. Совсем не такой, как в Моздоке или Шали – там собаки выли глухо и протяжно, а лаяли безысходно, пытаясь сквозь дым и огонь разглядеть забытую всеми Луну. Александру стало нестерпимо страшно: страх сковал все его тело – раненое предплечье, пробитую грудь, оторванную снарядом ногу.

Он вспомнил все, но дикий первобытный страх уже пронзил его мозг измятой, затертой до дыр похоронкой, и тут он проснулся. На кухне негромко играло радио.

«Тьфу, опять кошмары! И голова что-то не проходит», – он, потянувшись, поднялся с кровати, не торопясь, словно в замедленном кинофильме, побрел в туалет.

Сигарет на привычном месте не оказалось. Не было их и в заначке под потолком – полка пустовала. Он попытался сосредоточиться. По радио сообщили, что в столице пробило семь.

7.05. С кухни печальным рефреном к его невеселым мыслям повеяло хрипловатым голо-
сом Цоя:

Война – дело молодых,
Лекарство против морщин...

«Интересно, – подумал Александр, – знал ли дед Савельич об этом лекарстве?»

7.10. Наташа вот-вот вернется с ночной смены. И тогда все пойдет своим чередом. Зав-
трак, обед, ужин. Вечер. Ночь. День. Иногда – суббота, реже – воскресенье.

«Как все-таки редко наступает завтра, а сегодня тянется вечность».

7.15. *И он мне грудь рассек мечом*

И сердце трепетное вынул...

«Конечно, знал. Савельич знал все. Когда год назад умирала мама, дед Савельич взял
ее за руку и сказал: так, мол, и так, Надежда Осиповна, теперь и мне пора на покой. Сашку
вырастили – самое время отдохнуть».

7.20. Александр, не найдя сигарет, вышел из туалета, заглянул на кухню, но в одиночестве
завтракать не хотелось.

Выглянул в окно. Раннее летнее солнце нещадно ослепило его, и он подумал, как хорошо
было бы сейчас выбраться из этой мертвой коробки дома в зеленый пахучий лес. Подальше
от выхлопных газов – к своим чувствам и мыслям.

Он улыбнулся, вдохнув всей грудью свежий утренний воздух, еще не изнасилованный
автомобилями и прохожими, и отправился в комнату.

7.25. В зале стоял неприятный запах, как будто не проветривали здесь уже несколько
суток.

– Ах, вот ты где, злодей! – Александр ласково потрепал за холку огромного рыжего кота.
Тот благодарно замурлыкал. Еще шаг, и Александру показалось, что в комнате определенно
что-то не так, словно произошло нечто, и это нечто от него тщательно скрывают. Скрывают?

Непроизвольно его взгляд упал на полированную поверхность стола, обычно не занятую
посторонними предметами. Обычно, но только не сегодня.

Ему стало дурно. Рамка... Закружилась голова. Черная рамка с красной перевязью... Он
пошатнулся, все поплыло перед глазами. Фотография... Пол провалился и...

...Царское Село. Наташа. Двор. Бенкендорф. Петербург. Балы. Долги. Тараканьи бега.
Барон. Дантес. Травля. Честь. Кровь, кровь, кровь. Ночь в бреду. Что это?

Снегом сеющий ветер, будто бледный конь, пронесся, распутив волной густую гриву
и непомерно долгий хвост.

Вслед за ним – еще конь с опустошенными глазами. Несущийся конь еще.

За ним – еще. Целый табун умчался в ночь, исчезнув в зияющих провалах неба.

И снова – кони. И метель хлещет их своими седыми крыльями, миру конец возвещая.

И стонет метельная ночь могильным, морозным дыханьем. А вдали тихо плачет Надежда:

– Вы мне придумали сердце...

А Сердце:

– О, Господи!

«Каменский? Лорка? Не знаю, но помню. Нет: знаю, но забыл»

7.30. Фотография... Пол...

И тут он проснулся. Диктор повторил время.

7.30. Александр хотел, было, напиться воды, но не смог дотянуться до стакана. Где-то
в ногах вновь замурлыкал кот. Послышался звук отворяемой двери. Александр окликнул вер-
нувшуюся жену, но не услышал собственного голоса.

7.35. Жутко болела правая рука. В отчаянии он шарахнулся к коридору, но не смог сделать ни шага. Он с трудом сфокусировал свой взгляд на книжной полке напротив.

Вольтер... Байрон...

7.40. «Почему я не могу шевельнуться?» Александр вспомнил о недавнем фотографе и скорчил невеселую гримасу: «А мы неплохо рифмуемся – Саша... Наташа...»

Она вошла, спутав все его мысли...

– Что с тобой? – спросил он, но она не ответила.

Она молчала. Растрепанные волосы, фиолетовые мешки под глазами – сегодня она была похожа на истерзанную Жанну Д'Арк, побежденную Еву Браун кисти последнего художника обреченной эпохи. Нездоровый, очень нездоровый румянец выдавал ее страшное состояние. И все же это была она... Приблизившись к Александру, Наташа дрожащей ладонью погладила его по шершавой щеке и негромко всхлипнула. Александр попытался утешить ее, но тщетно. Николай Чудотворец печально, понимающе кивнул ему с иконы, висящей напротив, и беспомощно развел руками. Опоры рухнули, разверзнув бесконечную вечность. Вечность закашлялась и затихла. Он вспомнил все. И сделал шаг к своей последней войне:

с черным и белым, с крестиками и ноликами;

с беспечными вакханками и Дантесом;

с мальчиком и его пальцем;

со спящей царевной и Черномором;

с ворошиловскими стрелками

и литовскими биатлонистками...

С самим собой.

7.46. *Наташа, ангел мой!*

Готов тебе в забаву Я жизнь отдать!

Люди в черном, пришедшие в тот морозный январский вечер к этому дому на Мойке, в недоумении столпились у входа.

Наташа не открывала, хотя стучали непрерывно.

– Может, отошла куда? – удивлялись одни.

– Надо бы милицию вызвать! – советовали другие.

Какой-то старенький майор-отставник, весь в орденах и медалях, спешно отправился к соседям звонить «01», да так от них и не вернулся – прихватило сердце.

Когда, наконец, взломали дверь, в большой комнате обнаружили Наташу, лежащую без чувств у старинного дивана. Доктор нащупал пульс.

– Слава Богу, с ней все в порядке! Утомила, переволновалась... Это бывает.

Доктор удовлетворенно оглядел собравшихся. О подол его белоснежного халата заискивающе терся огромный рыжий кот. Яркое зимнее солнце залило всю комнату неестественно-потусторонним светом, а на столе – за накрытым корочкой хлеба граненым стаканом – стояла фотография в черной траурной рамке.

И фотография была пуста.

Человек, который проспал Конец света

*Случилось что-то в городе моем...
Деревья встрепещулись, словно крылья.
(ВИА «Воскресенье»)*

Никогда еще утро не казалось ему таким безмятежным и чистым. Не ныла поясница, не болела голова – это его несколько встревожило. Он перевернулся на бок и столкнулся – глаза в глаза – с ненавистным Розенбаумом, хлопчато-бумажно улыбающимся не только уголками стремительных губ, но и сверкающей лысиной.

– Привет.

Скользнул взглядом выше – бархат загорелой шеи, четкий рельеф подбородка, разлет тонких бровей, ровная золотистая челка...

– Где твои очки? – потягиваясь, спросил он.

– Мне они больше не нужны, милый, – на мгновение зависла над ним, потерлась кончиком носа о его щеку и упорхнула на кухню. Он кубарем скатился с кровати и к превеликому удивлению не обнаружил в комнате – на полу и журнальном столике – следов вчерашней попойки: ночь! три «Анапы»! две! дымок «Сamel»... один... пуск... Вспышка...

– А дальше? Дальше я уснул!

Он взглянул на часы и едва не подпрыгнул от неожиданности – проспал! «Уже час, а я все дома. Впрочем, работа не волк...» Он наспех умылся («Наконец-то дали горячую воду!»), натянул выглаженные брюки, надел свежую рубашку. Заглянул на кухню. Жена указала на дымящуюся чашку:

– Пей, остынет ведь, – и сама сделала глоток.

Что-то новое неуловимо сквозило в ее поведении. Он принялся – другой запах на кухне. Взглянул на обои – возникло ощущение, будто их только что поклеили. И впервые журчащий из магнитофона Розенбаум совсем не раздражал его.

– Сегодня задержусь... Что бы выдумать насчет опоздания?

– А ничего не выдумывай. Никто и не спросит.

– Как это? – удивился он.

– Да так... Ладно, иди, но все-таки не задерживайся, мы ведь вечером ждем гостей!

Он кивнул, не понимая, о каких гостях идет речь, и вышел, обещав быть к семи.

Выйдя из подъезда, он вспомнил, что еще вчера этот чертов лифт не работал, а на первом этаже перегорела лампочка. «Неплохо бы похмелиться», – подумал он, считая наспех ссыпанную в карман мелочь.

У павильона толпились люди. Он приблизился, спросил, указав на лежащего под деревом парня:

– Что, напился?

– Нет, – несколько пар насмешливых глаз уставились на него. – Просто человеку хорошо стало.

– А-а, – протянул он и передумал пить.

В первом же подошедшем троллейбусе было несколько свободных мест, что обычно редкость, и он плюхнулся в заднее кресло, удовлетворенно отметив про себя, что в обеденное время ездить на работу куда приятнее, чем по утрам – ни давки, ни настырных контролеров. Только он об этом подумал, как к нему подошла полная женщина и неправдоподобно вежливо сказала:

– Ваш билетик...

Он полез было в карман за мелочью, но контролерша остановила его, легонько коснувшись плеча.

– Нет, что вы! Я вовсе не то имела в виду. Вот ваш билет! – и протянула ему крохотный желтый листочек с синими буквами. – Странный вы...

Он виновато уткнулся глазами в билет и, когда она отошла, выглянул в окно: по Чернавскому мосту маршировали пионеры, на водохранилище белели надутыми парусами яхты, золотился песок на берегу... Стоп! «Почему пионеры? Может, скауты какие?!»

Он оглянулся. Красные галстуки быстро удалялись.

Легкий вздох. Прозрачная сизая дымка над водой. Шум мотора. И удивительно чистый воздух – в этом месте всегда пахло навозом.

– Наваждение какое-то, – вслух сказал он, озираясь по сторонам, не услышал ли кто.

Но каждый был занят своими делами.

Боже! Какие могут быть дела в троллейбусе?! Газеты да пустая болтовня. Сидящая у средних дверей цветущая пожилая дама невозмутимо вязала носок, а девочка лет пяти на задней площадке укладывала в маленькую розовую коляску куклу Барби.

– Наваждение...

То, что мир состоит из противоречий, он узнал еще в первом классе средней школы, когда, отдавая дань октябратскому уставу, в компании таких же, как он тимуровцев, навестил Героя Советского Союза в его убогом послевоенном жилище. Герой был в стельку пьян, и это никак не соотносилось с полученными в школе знаниями о патриотизме и любви к Родине.

Но даже тогда противоречия так не распирали его душу. Сейчас все было иначе, и противоречия рвали его на части. Отчего? Он не знал ответа на этот вопрос. Наваждение...

Он откинулся в кресле и подумал о том, что непременно нужно немедленно брать отпуск. В голове предательски стучало: какой, к черту, отпуск? вся твоя ничтожная жизнь – один большой бессрочный отпуск! И надо провести его так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги.

«Какие деньги? Хорошо-то как!»

Его растормошили у Петровского сквера.

– Молодой человек, ваша остановка, – та самая женщина-контролер ласково улыбнулась ему откуда-то сверху, возвращая его из полудремы в реальность.

– Ваш билетик?

Он протянул ей желтый листок с синими буквами и, размышляя над тем, как она могла догадаться о его остановке, шагнул на влажный асфальт. Грибной дождь закончился так же неожиданно, как и начался. В редких лужицах отражалось отдохнувшее небо.

Он подошел к киоску.

– Две пачки «Друга».

– Пожалуйста.

Ему протянули сигареты с дружелюбными песьими мордами на красном фоне бумаги. Он повертел их в руках, чувствуя какой-то подвох, и невольно расхохотался – на боковой стороне каждой пачки белел четкий курсив: «Курите на здоровье!»

– Конечно! – он хлопнул себя по лбу. – Завтра же 1 апреля!.. Пожалуй, на работе мне простят, если я сегодня вообще не явлюсь.

Он поспешил к Управлению ЮВЖД, решив позвонить начальству с вахты. В фойе обратил внимание на обычную афишу, приняв ее содержание за очередной розыгрыш:

*1 апреля в Большом зале —
Андрей ПЛАТОНОВ читает повесть
«СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Муз. сопровождение: ф-но.*

Начало в 17.00.

Сняв трубку и набрав 30—42, забыв поздороваться, выпалил:

– Сегодня не смогу... И завтра. День рождения... И на кладбище – к матери...

Выходя из дверей, он заметил старушек, сгурьбившихся у входа. Никто не обращал на них внимания, и они преспокойно молились на шпиль здания, высоко запрокинув покрытые платками головы.

Проходя мимо, он легонько тронул одну из них за локоть и указал пальцем на недостроенный Кафедральный Собор в Первомайском:

– Храм, бабуль, там. А здесь Бога нет, здесь железнодорожники. Старушка повернула к нему уже не изъеденное глубокими морщинами лицо.

– Бог везде есть, сынок. Даже в камне.

– Наваждение! – он отстранился от старушки и поспешно зашагал в сторону Кукольного театра.

«Где менты? Бомжи? Нет ни одной „скорой“. Почему? Да еще эти пионеры с троллейбусным билетом...»

К нему подошла обворожительная брюнетка и молча протянула глянцевого пакетик с двумя буквами – О.К.

– Я что, на бабу похож? – возмущенно воскликнул он. – На хрена мне ваши прокладки?! Девушка отпрянула, но на обворожительном лице ее не дрогнул ни один мускул.

– Это презент, возьмите. Подарок от фирмы – комплект мужского белья.

– Простите, – он протянул руку. Девушка, вручив пакет, удалилась, осыпая его словами благодарности.

«Ну, зачем я так?» – подумал он, озираясь по сторонам: в лужицах презабавно кувыркались воробьи, а прохожие обходили их стороной, стараясь не спугнуть; автомобили пропускали пешеходов; у памятника Никитину стоял странновато (по нынешней моде) одетый человек, громко декламируя какие-то архаичные стихи; с витрины магазина вещали все 28 телевизоров.

Он подошел к крайнему: пышущая благополучием дикторша «Вестей» сообщала зрителям об окончательном завершении контртеррористической акции российских войск в Чечне. Крупный план выхватил Президента, обнимающегося с каким-то безбородым генералом свободной Ичкерии.

– Должно быть, Радуев. Или Яндарбиев... Побрились, что ли?

– Дудаев, – утвердительно поправил его человек в малиновой «тройке» и белоснежной сорочке, повязанной замысловатым узлом чопорного петушиного галстука.

Через минуту малиновая «тройка» исчезла в вишневой «девятке». Заурчал мотор, из выхлопной трубы повалил веселящий газ, и машина скрылась из виду, оставив лишь ароматное сизое облачко.

Он, глядя на медленно оседающую пыль, покрутил пальцем у виска и, усмехнувшись неожиданному собеседнику, громко сказал:

– Дудаев умер. Давно умер.

Закурив, свернул на Комиссаржевскую и уже скоро был у красавца-стадиона. Заветный матч «Факел» -«Балтика» должен был состояться послезавтра, но билеты стоило взять сегодня, иначе не пробиться. У кассы почему-то никого не было, и это удивило его не меньше, чем старушкин молебен у Управления.

Он постучал в окошко кассы:

– Мне два на Восточную трибуну, – и протянул 30 рублей.

– Вы что, юноша, с Луны свалились? – билетерша подняла на него свои голубые глаза. – Руководство клубов договорилось о боевой ничьей. Так что победила дружба!

Ничего не понимая, он отошел от кассы и остановился у рыночной арки, уставясь в аккуратно наклеенную афишу. Потом вернулся к кассе, снова постучал – окошко отворилось. Не скрывая разочарования, он осторожно спросил:

– И какой счет?

– 3:3. У нас забили Гурбанов, Шмаров и Юминов.

– Спасибо, – он в недоумении сунул деньги в карман брюк и прошептал:

– Хорошо-то оно хорошо, только нахрена мне это стерильное счастье?!

И тут же почувствовал, как соскучился по магазинным очередям и трамвайной давке, базарной ругани и своему остеохондрозу.

Он поймал такси, сунул водителю 30 рублей и неживым голосом пробурчал:

– Домой... На Минскую...

Водитель кивнул и выжал сцепление, принявшись было рассказывать ему подробности своей бессонной и удивительной ночи.

Он грубо перебил его:

– Что сдачу не даешь?

Водитель добродушно протянул ему все деньги.

– Сколько?

Водитель прищурился:

– Да какая теперь разница!

И довез его до самого подъезда.

Лифт, как назло, работал, и на первом этаже горела яркая лампочка.

Он полез в сумку за ключами, но передумал открывать, трижды нажав на мягкую кнопку звонка. Дверь отворила жена, с ее майки сверкнул лысиной Розенбаум.

– А у нас гости, – радостно сообщила она, пропуская его в прихожую. – Ты чего такой хмурый?

– Да неприятности на работе, – солгал он, теряясь в догадках, кого это сегодня могла принести к ним нелегкая.

– Врунишка, – шепнула жена и потерлась кончиком носа о его щеку. – Иди, поздоровайся.

Голоса доносились с кухни. До боли знакомый женский голос настойчиво предлагал кому-то через недельку рвануть к родственникам на Балтику.

– Там и родственников-то не осталось, – он испуганно взглянул на жену, та подтолкнула его к двери.

Дверь отворилась. И дикий, ни с чем не сравнимый ужас сковал все его существо. Женщина протянула к нему свои руки

и ласково проговорила:

– Здравствуй, сынок! Как же долго мы с тобой не виделись.

Хачик Адамович подслушивает дождь

Подслушивать в полночь шепот дождя – что может быть прекрасней!? И наслаждаться спокойствием мира, и восхищаться небесной чистотой, и ощущать себя ребенком, свято ошибаясь, что после шести обязательно будет семь, а после семи...

Хачик Адамович подслушивал дождь, лежа на мокрой спокойной траве, примятой этим дождем, глядя на сладкий утренний туман, окутавший дальние дома аула, радуясь, что нет более войн за пространства, покрытые газом и нефтью, а есть войны за время, и он – один из тех, кто лежит в окопе и отнимает у прошлого клочок времени, ибо вспоминает былое.

«Я прорубил окно в небо, – думалось Хачику Адамовичу, – и пошел дождь, теперь я населю светлыми тенями прошлое моей страны и прославлю героев. Но дождь, подобно тому, как сегодня смывает мои следы, однажды смоем все. Как жаль»...

Хачику Адамовичу увиделась дивная даль, где добрая часть человечества радовалась Первомаю, а гимн великой Советской страны, подслушанный Александровым у Шумана, звучал в унисон дождю, сливаясь в единое целое, прославляя нерушимое свободное Отечество, где матросы-подводники строились на плацу перед грозным плаванием, и их новая субмарина сверкала на солнце всеми цветами радуги, – Боже, храни подводников!

Ему показалось, что сквозь мягкую каплю он слышит плач ребенка; голос был глух, и ребенок вскоре затих, убаюканный матерью; уснула Сербия, Эстония, Чечня, и Хорватия погрузилась в сон, навсегда забыв о картечи, языке межнационального общения, – Боже, храни Хорватию!

Если бы не было дождя, Хачик Адамович непременно подслушивал бы ветер, и ветер принес бы ему долгожданную весть о том, что нет больше границ ни у жизни, ни у смерти, и за большим семейным столом собрались все, кому он дорог, и все, дорогие ему; ветер сообщил бы, что его ждут, что пора возвращаться, что нет больше границ... Если б он подслушивал ветер.

Но Хачик Адамович подслушивал дождь, и чудилась ему древняя земля, где в едином приветственном возгласе Палестина слилась с могучим Израилем, где праведники шли друг к другу, вениками обметая путь перед собой, дабы не примять мокрой травы и не растоптать сандалиями бессловесных, беззлобных, безобидных насекомых; земля, где грешники стали праведниками, а праведники стали Богами, – Боги, храните кузнечиков!

Сквозь пелену грибного дождя доносились до Хачика Адамовича счастливые крики НЕвзорвавшихся в Пятигорске, Назрани, Махачкале, Ростове, Волгограде, Минске, Воронеже, Риге, Урус-Мартане, долетали до него негромкие слезы радости НЕумерших от СПИДа, НЕраненных в Ираке и Тушино, НЕзаваленных арматурой и стеклами в Москве; он видел лица НЕутонувших и улыбался НЕдошедшим, – Боже, храни всех сбившихся с пути!

Хачику Адамовичу вновь казалось, что он подслушивает дождь, но не было больше Хачика Адамовича.

Тяжелый дождь – уже не грибной – бил все сильнее и сильнее по выжженной земле, по опустевшим деревням и мертвым городам, по колокольням отринутых церквей, по каменным крестам Пруссии и сосновым гробам, отвергнутым русским черноземом. Тяжелый дождь колотил по Армении, и казалось дождю, что это он подслушивает Хачика Адамовича, который в детстве мечтал стать космонавтом, который вчера скулил подстреленным волком, которому сегодня кровь застилала глаза, которого больше не было...

Дождю это только казалось, потому что и дождя уже больше не было.

Просто Тит

– *Kakie vashi dokazatelstva?* – «железный» Арнольд тупо уставился на Тита. Титу это не понравилось.

– Да пошел ты! – хмуро отреагировал тот и выключил телевизор. – Говорить сначала научись, капиталист хренов! Форму напялил нашу – думает, все можно... Ты, Хераська, не баламуть меня своей фильмой, иди лучше скотину корми – заждалась поди...

Хераська присвистнул. «Красную жару» смотрел он уже пятый раз, и все не мог в толк взять, почему этот скуластый здоровяк с кулаками пошире хераськиной головы так ни разу за битых два часа не остаграммился. Мент называется!

– Вот наш участковый, – начал было он, да Тит перебил его.

– Ты тоже на меня не смотри так, не люблю я этого. Сам знаешь – мне все нипочем. Но когда кто уставится – не выдерживаю, икать начинаю.

В подтверждение своих слов Тит недовольно икнул.

Да. Хераська знал это. Как знал и то, что в чулане в картонном ящике из-под гуталина Тит держит десятилитровый бутыль самогона, и что ежели он, Хераська, попросит чуток, Тит не откажет. Бутыль наверняка залита под самую крышку; на поверхности мутновато-желтого пойла застыли сморщенные поплавки красного перца, развеваются паруса лаврушки, а на дне вожденного сосуда – якорем – горка чесночных головок.

Хераська настолько живо представил себе эту картину, что невольно пустил слюну.

«Водка – колыбель русского флота!» – вспомнилась ему вдохновенная надпись на торговом ярлыке в Мишкиной «стекляшке». И тут же веселый ветер неистово загудел в его вихрастой голове – «Свистать всех наверх!»

Матросы кубарем выкатились на отдраенную палубу, выстроившись в шеренгу. Первый, второй, первый, второй...

Хераська – в белоснежном парадном адмиральском кителе, при золотых погонах и с биноклем наперевес – поднял вверх руку, призывая успокоиться бесноватых матросов. Крейсер качнуло набежавшей волной; черная повязка, пересекающая хераськино лицо, съехала набок, обнажая глубокий шрам от уха до бельма на глазу. Морской волк поправил ее, да так гаркнул, что чайки сорвались с грот-мачты и взмыли в небо.

– Товарищи матросы! – взвыл Хераська. Матросы приветствовали его троекратным «ура», – Как говорил выдающийся деятель российско-украинской культуры Никола Фоменко, наши поезда – самые поездатые поезда в мире. Это же относится и к нашему славному флоту! (ура! ура! ура!). Сегодня, 23 февраля 2000 года, – наш профессиональный праздник, и наш долг – отметить его так, чтобы все вытрезвители суши содрогнулись от этой попойки! Старпом (рядом возник сутулый высокий старик, похожий на Тита), шампанского на палубу!

– Да нет у меня шампанского, – человек, похожий на Тита, задумчиво почесал седую бороду. – Может, самогонки выпьешь?

Хераська непонимающе уставился на старпома, хотел, было, отmaterить его, но тот быстро превратился в Тита.

– Тьфу ты! Опять нашло... Ладно, давай свою самогонку.

Тит вынес из чулана наполненную до краев кружку, подал, но сам пить наотрез отказался, сославшись на «проклятый» желудок.

– Копачи у меня там, кажется, завелись. Того и гляди, закапывать начнут, тогда не сдобровать.

Хераська мигом осушил кружку, чему-то усмехнулся и, погрозив Титу желтым прокуренным пальцем, вышел прочь. Тит прикрыл за ним дверь. Икнув, погасил свет. Скоро в комнате

воцарилась гнетущая тишина, время от времени прерываемая писком пикирующего комара да скрежетом зубов спящего старика.

Так в селе Ендовище Семилукского уезда Воронежской губернии промчалось еще одно обыкновенное, серое и идиотское воскресенье.

В понедельник уволили председателя колхоза, Соломона Григорьевича. На общем собрании в сельсовете пьяный участковый объявил селянам, что председатель, злоупотребляя служебным положением, довел до крайне невыносимого положения (тут участковый вконец запутался в словах, но суть все же изложил) свою секретаршу Кончитту, бывшую по совместительству «Мисс Ендовище – 99». Все бы ничего, да вот беда. Кончитта – девка замужняя, а супруг ее, знатный скотник пятого разряда, само собой, принял надлежащие меры, позвонив кому следует и набив супружнице морду...

Так вот, в понедельник утром уволили председателя, Соломона Григорьевича. В обед Кончитта села в проржавевший «пазик» и укатила к чертовой матери в Воронеж. А вечером над Ендовищем полетели самолеты. Тит понимал, что все эти совпадения не случайны – между событиями обязательно должна быть какая-то внутренняя связь.

И глубокой ночью, несмотря на непрекращающийся гул моторов где-то высоко над крышами, к нему пришло озарение. Наконец-то он понял, что никогда еще в Ендовище не снимали председателей – они умирали сами, ни разу бабы не бросали мужей – последние уходили первыми, и уж тем более – никаких самолетов, разве что «кукурузники» раз в месяц. Да галки с воробьями...

Привычного ко всему Тита не смутила такая перемена.

Его давным-давно уже категорически перестали волновать всяческие деревенские котовасии.

Бывало, дерутся местные с дачниками, а ему наплевать – пройдет мимо, бровью не поведет. Или посеред околицы отгрохали как-то заезжие коммерсанты двухэтажный бар-ресторан, – «Мишка унд Гришка» – а Тита и это не удивляет. Селяне знали давно, что просто он другой, не от мира сего, потому и звали его – просто Тит. А по той причине, что никому ничего никогда дурного он не делал, платили ему тем же – кто колесо от трактора подарит («Возьми, Тит, мне ни к чему»), кто огород вскопает («Одному-то тяжело поди!?!»).

Как-то корреспондент из Воронежа приехал. Все ходил, фотоаппаратом щелкал. Прощаясь, вынес из «жигуленка» новенький небольшой телевизор с длиннющей антенной.

– Зачем мне это? Не нужно, – сопротивлялся Тит.

– Нужно, нужно, дед! Потому как ты – герой наш, а герой без телевизора все равно что журналист без пистолета. Бери, пригодится.

С такими словами и вручил, и умчал в свою редакцию передовицу писать – «Как живешь, Ендовище?»

– И то верно, в хозяйстве все сгодится, – решил Тит, а Хераська, хоть и молод был тогда, но сообразителен не по годам. Сам настроил, сам установил, сам и смотрел после – у себя-то только радио да семья в девять голов; какие уж тут фильмы...

Плюнул Тит на эти гребаные самолеты, вспомнив про Хераську – вечер уже, а его все нет. К девяти у того всегда повторная потребность возникала в алкоголе: придет, сядет на табурет, в фильму уставится, а сам только и думает, что о мутной самогонке в титовом чулане.

Махнул Тит рукой, тряхнул бородой укоризненно и щелкнул по тумблеру телевизионному.

Диктор немедля сообщил ему, что погода в округе хорошая, небо ясное, а самолеты в небе летают потому, что их засранец Клинтон на братскую Югославию направил. Но братская Югославия сдаваться не собирается – народ в бомбоубежищах митингует, партизаны из снайперских винтовок по «стеллсам» бьют, «томагавки» сбивают, а русские рок-группы в качестве гуманитарной помощи на центральной площади Белграда песни поют о том, что в последнюю

осень уходят поэты, и их не вернуть. Кто таков «милый Александр Сергеич» Тит так и не понял, зато уловил главное – где-то близко идет война, а ежели она дойдет до Ендовища, то почистит он свою старенькую берданку, посидит в последний раз под старой березой у самой дорогой его сердцу могилки и отправится туда, куда велит ему Родина.

А что такое Родина, Тит знал не из учебников.

Хераська, сорванец хренов, явиться так и не соизволил. Гул в облаках все нарастал и нарастал.

– Ангелы что ли в небе трубят!?! – вспомнилось Титу бабкино предсказание.

Давно это было. Соберутся на завалинке старожилы ендовищенские, кто козью ногу махрой набьет, кто мутовизок поднючит. О всяком старики говаривали, но больше всего запомнились Титу желторотому такие слова, подслушанные от бабки его родной, Анисьи Титовны:

– Эх, набегут через сто годов тучи грозные, да жара стоять будет все лето. Закипит песок – камни расплавятся. И затрубят над головами ангелы, на бледных конях ездецы, смерт्यूшки предвещатели. Затрубят, и выйдет Подебень, река жизни, из берегов, да не будет в ней места ни мне, ни вам...

Сто лет еще не прошло, но звук в небе настолько усилился, что Титу пришлось зажать пальцами уши. Он выбежал во двор. Звук несколько ослаб, только ощущение нависшей над Ендовищем угрозы лишь усугубилось. Тит уселся на сложенные у колодца кирпичи и уставился в темную даль.

Разные мысли лезли в его голову, в том числе и такая:

– Будь я Господь Бог, послал бы все к ядрене фене. Сел бы на облачке белом и плыл бы себе, куда глаза глядят... Что мне эти человеки? – неразумные они, вот и бесятся. Пусть себе бьют друг дружку. А останется один, последний, пусть хоть Клинтон этот, вызову его к себе и так ему скажу: «Не повезло тебе, что выжил в этой заварухе, не буду я из ребра твоего бабу тебе делать. Я из тебя самого бабу сделаю. Да так отъебу за все твои прегрешения, что мало не покажется». А потом отпущу его на все четыре стороны гнить, а сам удавлюсь. Ибо не можно так жить ни человеку, ни Богу!

Яркий квадрат окна четко отпечтался в самом центре огорода. Тит прикурил папироску, затянулся. Освещенная земля казалась чернееобычного. Тит прислушался, пытаясь различить среди самолетного шума жалобное пение сверчков, но понял, что пока все это не кончится, сверчки смогут петь лишь в его голове. Не отрывая взгляда от яркого квадрата на своем огороде, он забычковал окурок о тяжелый кирзовый сапог, вдохнул порцию свежего воздуха и широко улыбнулся.

– Благодать! – Тит попытался как можно точнее скопировать интонации покойного Серафима, местного дьячка, отдавшего Богу душу прошлой весной, и удовлетворенно охнул. Но в тот самый момент, когда он мастерски причмокнул языком – точь-в-точь как Серафим после рюмки горькой – в двух шагах от него с жутковатым воем пронеслось и упало нечто такое, что заставило сладкоголосого дьячка содрогнуться в своем тесном подземном жилище. Тит был спокоен, но удивлен изрядно.

Он, словно слепой, медленно приблизился к бомбе. Взорвется...

Made in USA. 02.02.77.

...или не взорвется?

Тит с силой пнул ее ногой. Та не поддавалась. Тит ударил еще... Когда-то, во вторую мировую, Титу приходилось видеть такие дуры, только поменьше да попроще. Тит быстренько прикинул, что если бомба была произведена в 77-ом, то вторая дата означает срок годности, который истек в декабре позапрошлого года.

Хоть американская бомба – не краковская колбаса, срок годности – дело серьезное, и если уж еще не рванула, то вовсе не потому, что протухла. Тогда в чем же дело?

Такое случается, думал Тит. Редко, но случается. Он уселся верхом на бомбу, снова закурил. А когда папироса потухла, поднялся, расстегнул ширинку и обдал бомбу мощной струей... И пошел спать, оставив на утро решение всех возникших вопросов.

Лишь только первые солнечные лучи, теплые и ласковые, заглянули в заспанные глаза Тита, он уже твердо знал, как ему обойтись с неожиданным трофеем. Но прежде он должен был разыскать невесту куда пропавшего Хераську – одному не справиться!

Соседский огород безмолвствовал, будто все семейство вымерло.

Тит громко постучал в окошко. В глубине хаты послышалась недовольная возня, чуть позже из форточка высунулась взъерошенная голова Хераськиной бабки, как две капли воды похожей на спившуюся Мадлен Олбрайт. Олбрайт поморщилась.

– Да нету его, Тит. Напился вчерась до чертиков, блукает где-то, чтоб его пескарь забодал!

Хлоп. Форточка закрылась. Тит вышел со двора и побрел в сторону забегаловки – уж там-то точно подскажут, где искать. Напротив дома участкового прихватило сердце – Тит присел на скамейку, прислушиваясь к небесному гулу, да так и просидел с час.

Ендовище потихоньку оживало. Вот уже бабы коров к Ведуге повели, вот затарахтел где-то мотоцикл, вот пропылил мимо первый автобус. Титу даже показалось, что в его окне он разглядел румяную физиономию Кончитты, похорошевшей и потолстевшей одновременно.

Мишка унд Гришка, близнецы-братья, открыли бар, тут же скрывшись за массивными бронированными дверьми с желтой надписью: «Вошел с кошельком – вышел под хмельком!»

Мальчишки...

Тит ловко ухватил за рукав рыжего пацана с модным рюкзачком за спиной.

– погоди. Что кричите-то?

– Ты че, дед, глухой?! Хераська ночью утоп. Напился на лодочном и утоп.

Тит отпустил рыжеволосого, разочарованно глядя, как тот догоняет своих. Он пошарил в карманах и, обнаружив в залежах махорки засаленную десятку, решил помянуть покойного друга. У вывески остановился, перевел дух.

Движение на улице усилилось, людской поток забурлил, зажурчал; жизнь продолжалась, но уже без Хераськи.

Окинул Тит взглядом родную округу, и не узнал свое село: с одной стороны – хляби земные разверзлись и вонь до небес, где лишь облака да самолеты, с другой – тишь, гладь, дворцы из красного кирпича. И нет благодати Божьей ни на той стороне, ни на этой.

Или есть?

Екнуло что-то в груди Титовой, ох как екнуло. Так, что захотелось ему убежать в чистое поле, броситься на землю, уткнуться в траву некошенную и захлебнуться в горячих слезах. Но дряхлые ноги волочили его к сверкающему стеклом заморским прилавку, а выплаканые давным-давно слезы все до капельки остались у заветной могилки с зеленым облупившемся памятником железным, с которого уже двадцать первый год смотрели на Тита нежные и молодые глаза его Дашеньки.

– Водки!

Ему налили. Он выпил. Сзади громко хлопнула входная дверь. Тит обернулся нехотя.

К прилавку, пошатываясь, шел изрядно помятый Хераська, собственной персоной, с ужасным кровоподтеком на правой щеке.

– Ты ж утоп, – угрюмо сказал Тит, недоверчиво разглядывая Хераськин фингал.

– Не-а, – протянул Хераська. – Утоп не я, а Кузя. Правда, поначалу спасатели меня опознали. А я пьяный на элеваторе дрых. А утоп Кузя, ветеринар. Не я! Недоразумение.

– Сам ты недоразумение, – Тит икнул. – А ко мне вот бомба в огород залетела...

– Врешь!?! – Хераська бесновато завращал зрачками. – Врешь, поди?

– Чего мне врать-то? Хотел было тебя кликнуть, чтоб подсобил, а ты утоп.

– Утоп не я, Кузя.

– Знаю уже. Скажи лучше, как это тебя угораздило, – Тит указал на щеку, Хераська тут же поморщился. То ли от боли, то ли от неприятных воспоминаний.

– Не помню, – честно солгал он. Накануне его крепко отдубасили пятеро дачников за то, что тот облевал привязанного к «Москвичу» пуделя. Так, слово за слово, они добрались до Титова огорода, а после беглого осмотра места происшествия Тит отправил Хераську отсыпаться к себе на веранду. А сам принялся за дело.

Бомбу он решил приспособить под душевой титан – сбить с нее капсулу, вычистить внутренности, вытрясти порох, если таковой имеется, наполнить водой. Водрузить ее на блоки чуть выше уровня земли – для того, чтоб костерок под ней разводить, водичку нагревать в сырую погоду, а рядом яму вырыть, досками струганными обложить. Душ будет что надо! Титан-«томагавк» нагреешь, нырнешь в земляную «кабинку», повернешь краник, а из лейки над головой водичка теплая на тебя – чем не банька!?

В тот же день все Ендовище разузнало о Титовой бомбе. Поглазеть приходили целыми семьями, будто на экскурсию в столичный зоопарк. Бомба не кусалась, не строила рожи, и селяне воспринимали ее спокойно. Молча, лузгая семечки, смотрел люд, как Тит мастерит что-то

на огороде, копает, бомбу рулеткой обмеряет. И икает. Жалобно так икает.

Однажды пришли к нему рыбаки. Хотели бомбу купить, пока Тит ее вконец не испортил, да вовремя передумали. Втолковал им Тит, что нельзя такой дурой рыбу глушить – все село разнесет!

Согласились рыбаки, самогонки тянули и пошли с миром – сети у участкового выпрашивать.

В другой день зашел новый председатель. Интересовался, не надо ли саперов или взрывников. Убедившись, в народно-хозяйственной важности бомбы, оставил Тита в покое.

Через неделю – на удивление местной публике – в огороде Тита уже возвышалось неуклюжее сооружение, напоминавшее кому немецкий рейхстаг после взятия, кому разворованную военную базу со всеми вытекающими выводами – «Как бы на тебя, Тит, оккупанты аглицкие не ополчились. Ведь вычислят баню твою ракетную, как пить дать вычислят. А тогда и пальнут по нам как по Белгороду».

– По Белграду, – поправлял Тит, любясь строением. – По нам не пальнут, испугаются.

Ему возражали, а наиболее светлые деревенские головы вспоминали Хусейна. Бывал тогда в деревне студент один, практикант-агроном. Все книжки толстые читал, ликбез селянам устраивал. Сказывал он, что в незапамятные времена Ирак называли Вавилоном...

– Баб-Илу, – повторял студент, и слова накрепко оседали

в деревенских головах. – Это Вавилон, врата Бога, значит. Так говорил Шаркалишарри, аккадский царь. Вот и думайте, если американцы пускают свои ракеты в самые Божьи врата... У нас в СХИ даже шутка была – мол, по воротам бил Клинтон!

Практикант горделиво отбрасывал назад челку и продолжал, обращаясь уже непосредственно к Титу:

– Знаете, Тит, ничего у них не свято. Доллар – вот их Господь! Ничего м не стоит взять да и накрыть целый народ атомным грибом, как японцев в сорок пятом...

И студент подолгу рассказывал – со всеми подробностями, будто сам свидетель, – что же все-таки сотворили Штаты с бедными япошками. Тит помнил эти беседы, но значения придавал им не больше, чем найденной на свалке плюшевой кукле с глупыми наивными глазенками.

Хераська тронул Тита за плечо.

– Что задумался? Плесни-ка лучше самогону, выпьем, за жисть потолкуем.

– Да за какую жисть толковать-то, нету никакой жисти, одна Поебень-река, – отрезал Тит, протягивая соседу кружку.

– Я и говорю: не жисть, а сплошная поебень, – Хераська удрученно опустошил кружку, через 10 минут повторил, через 20 – улегся в яме спать, перед этим обдав бомбу неперева-ренными помидорками.

Тит не стал беспокоить Хераську – пусть себе спит, намаялся! Взбил дедову перину, но прежде чем окунуться в сладкий сон, подумал о том, что завтра хорошо бы отбить, наконец, капсулу и выпотрошить капсулу. Как-никак, пора водой заливать, баньку пробовать!

Проснулся Тит от жуткого грохота в огороде. Должно быть, так же сотрясалась земля, когда на Тунгуску рухнул немыслимый вертолет. «Нет, в Японии хлеще рвануло!» – с этой мыслью он отдернул шторку на окне и увидел...

По дико заросшему огороду, сломя голову, метался протрезвевший Хераська, истошно вопя и ломая Титову смородину.

Тит замешкался, пытаясь осмыслить происходящее. Фиолетовое пламя пожирало Титово сооружение; за густым дымом бомба не просматривалась.

Тит выскочил в огород – маленькая стрелка на будильнике застыла на цифре «3».

– Хераська, твою мать!..

Тот кое-как притормозил у порога. Его трясло.

– Проснулся в яме твоей, весь в блевотине. Помыться хотел, костер запалил под ракетой. А она...

– Да я ж ее не вытряс еще, водой не наполнил!

– Забыл, понимаешь!?! Спьяну почудилось, что вчера все сделали... Помыться хотел!

Только тут увидел Тит, что бомба исчезла. Хераська с ужасом глядел на соседа. Тит нервно и часто икал.

– Засранец ты, Хераська! Душ мой загубил, – он махнул рукой, но глаза его уже улы-бались. – Да ладно, ничего, авось другой душ придумаем. Главное, чтоб бомба не свалилась на кого. Заметил, в какую сторону полетела?

Хераська отрицательно замотал головой.

– Вверх, кажись.

Тит подхватил его под руки и, успокаивая, повел в дом. Налил полный стакан и силой влил ему в рот. Только когда Хераська немногочухался, позволил ему снова выпить.

– Я чурку в огонь подбросил, а в ракете как заклоочет что-то, как загукает. Я так и сел. Гляжу, титан твой покраснел, задрожал даже. Я за водой к колодцу кинулся, думал, потушу – обойдется. Ан нет, глазом моргнуть не успел – улетела. Понимаешь, Тит, улетела?!

Лоб его покрылся нездоровой испариной.

– Не продавал я ее, ей Богу не продавал!

– Да знаю я, не ори. Как баба на сносях. Верю. Улетела – ну и ладно. Без нее спокойней даже...

Тит включил телевизор. На экране появилось изображение ночного города, на переднем плане горел Капитолий. Закадровый голос дикторши вещал о странных событиях минувшего часа и неизбежности третьей мировой. Тит приглушил звук.

– Что? – Хераська испуганно взглянул на соседа.

– Ты, Хераська, Капитолий взорвал...

– Не я, Тит, это все Клинтон. Не я.

Тит нахмурился:

– Надоело все! Война да война. Может, и правда, не ты попал... Жить надо, строить, пахать и сеять. Так нет же – все по боку. И колхоз, и поля, и люди! Даже Бог...

Тит перекрестился – впервые за последние годы. Сам не ведая почему, ссыпал всю наличку в пыльный карман – оказалось что-то около двух сотен, – и вышел из дому. Встал на то место, где совсем недавно высилась бомба, да так и простоял до утра. И казалось ему, что бледные костлявые пальцы третьей мировой похотливо ласкают тонкую ножку учениче-

ского глобуса, который занимает добрую половину кабинета директора ендовищенской средней школы. А на глобусе выходит из берегов могучая река Поебень и горит Капитолий...

Тит даже не заметил, как сзади к нему осторожно подошел Хераська.

– Ты чего это, задумался, что ль?

Тит улыбнулся, присаживаясь на кирпичи. В руках его появились спички, в зубах – беломорина. Хераська как замороженный смотрел на Тита, и казалось ему, что старик спятил. Сладкий дымок пополз по огороду, по вытоптаным земляным дорожкам, к калитке и дальше – в село.

– Хорошо-то как, Хераська! Сядешь вот так иной раз, Богу помолишься – «Да святится имя твое, да приидет Царствие твое» – глядишь, и приходит оно...

– Кто? – недоуменно промычал Хераська.

– Кто-кто?! Оно, стало быть. Царствие.

Тит повторно перекрестился и молча стал ждать.

Просто ждать.

Телефон Господа моего

Свои первые стихи я назвал просто – «Владимир Ильич Ленин с ликом на запад и выходом в треугольник», посвятив нежнейшие зарифмованные рулады маленькому лысому лучику света в непролазной кромешной тьме прошлого, о котором вычитал в какой-то запыленной книге.

Редактор поинтересовался:

– Но почему Ленин? Это же неактуально. Ну, Пиночет хотя бы, Путин, или Фидель Кастро. Господь Бог, на худой конец!

– Ленин – это всегда актуально! – я грубо пресек его оппортунистическое либретто и поднялся с кресла. У дверей я оглянулся и хмыкнул. – А Бога нет. Скорее всего, нет.

* * *

Двое – старый и молодой – переглянулись. У старого тут же погасла едва зажженная сигарета. Он тщательно выбил оставшийся табак на дно миниатюрной хрустальной пепельницы в виде летающей тарелки и потянулся за пачкой «Космоса», лежащей у телефона.

– Тебя кто-то вспоминает, папа, – мальчик указал на скомканную сигарету. – Сама погасла, значит, вспоминает. Примета у них такая.

– Нет никаких примет, сынок. Скажи-ка лучше, что задали на завтра?

– «Происхождение видов» Дарвина...

Отец взялся за телефон, свободной рукой перелистывая записную книжку, и набрал номер.

– ...И «Трансмутацию людского тепла» Льва Шестова.

– Не слышал, однако.

В трубке послышались короткие гудки. Старший положил ее на место и, будто бы обращаясь к себе, равнодушно процедил сквозь ровный ряд штифтовых зубов:

– Да и людей никаких нет.

* * *

Редактор исчез.

* * *

Сын улыбнулся неожиданному повороту беседы и принялся поспешно собирать учебники в ранец.

– Значит, завтра я так и скажу Передонову, если вызовет: нет, мол, никакого Дарвина. И Шестова тоже. А возникнут проблемы – на твой авторитет сошлюсь!

Отец молча усмехнулся. Выйдя из комнаты, он некоторое время размышлял о ситуации в Персидском заливе, но, дойдя до своего кабинета, махнул рукой и отворил дверь. На рабочем столе одиноко горела зеленая грибовидная лампа, закрытые матовые жалюзи создавали иллюзию глубокой ночи. Он подошел к огромному компьютеру, кряхтя уселся в роскошное мягкое кресло и, достав сверкающую вставную челюсть, набрал в командной строке: www.lenin.ru.

На экране высветилось невнятное лицо некоего прищуренного гражданина средних лет. Лихо задранный на затылок кепка выдавала молодецкий нрав гражданина, а низкий лоб, рас-

косые глаза и придурковатая ухмылка наводили на мысль его незаурядном уме. Под изображением заплясали желтые строчки:

В.И.УЛЬЯНОВ (22.04.1870—21.01.1924) – великий русский советский писатель-софист эпохи атеистического мракобесия, лучший друг и защитник угнетенных масс.

Подписывался псевдонимом – ЛЕНИН.

В своих главных произведениях (таких как «Лучше меньше, да лучше», «Шаг вперед, два шага назад» и «Декрет о Мире») он, вывернув наизнанку все ужасы нелепой действительности, пресек предательские вылазки ревизионистов, пригвоздил к позорному столбу ренегата Троцкого, открыл массам величайшую тайну партии и указал широкую дорогу социалистических преобразований всему советскому народу, а также мордве, чувашам и татарам...

Подло отравлен на партийной усадьбе в Горках неизвестным злопыхателем. Вероятен грузинский след...

– Как исказили историю, сволочи! – выдавил из себя старший. – Надо бы что-то делать с этим. Надо, однако.

Какая-то мысль не давала ему покоя. Он вновь придвинул к себе телефон, вновь набрал номер, вновь ему никто не ответил – гудки. Уставился на невнятного гражданина в мониторе...
(короткий сигнал: пи-пи-пи-пи)

...и уверенной рукой нажал на кнопку DELETE. Изображение пропало.

И решил он, что это хорошо.

* * *

Я не знаю, почему свои первые стихи я назвал именно так – «Владимир Ильич Ленин с ликом на запад и выходом в треугольник». В конце-то концов, дело не в названии. Дело – в том высокомерном тщедушном человечке, что прячется за строфами и рифмами. Может, в этом я и наговариваю на себя, но в другом уверен на все сто: я – Поэт. С большой буквы!

Вы спросите – каково это, быть Поэтом с большой буквы?

Отвечу – нет ничего проще, если, конечно, судьба удосужилась отметить вас своим избирательным знаком.

Меня – да. А началось все с телефона.

Простите, а у вас есть телефон? Даже если нет (воспользуйтесь жетоном, 2-копеечной монетой или пластиковой картой) – попробуйте набрать незнакомый номер, и вам откроется бездна любопытного... Однако сначала ответьте на вопрос: вы верите в сверхъестественное?

В соседние цивилизации? В смежные миры?

...Бездна любопытного – не больше. Ведь вам никогда не попасть по телефону, даже междугороднему, в параллельную реальность. В лучшем случае вы попадете в параллельную линию, где сотни таких же идиотов пытаются перекричать друг друга.

Поверьте мне: вам ни за что не дозвониться до параллельного мира, а это значит, что его либо не существует, либо в параллельном мире нет телефонов. Впрочем, звоните куда хотите – здесь я вам больше не советчик. Я поэт.

Поэт!

* * *

Его первый звонок прозвучал во вторник, десятого. Я долго не мог уснуть, все думая, где же он разыскал мой номер. Я спрашивал у знакомых, не звонил ли он им. Они издевательски пялились на мой новенький аргентинский галстук и советовали взять отпуск. Недоноски! В среду я сдал рукопись редактору...

*Мир — ночен!
Он прекрасен очень.
Мы как сельди в бочке
И бычки в очке.*

*Я страдаю почкой,
Я дошел до точки,
И я так задрочен,
Как рыба на крючке!*

...И был очень удивлен, когда редактор исчез.

В четверг, двенадцатого, звонок прозвучал снова.

Мы говорили долго, не спеша, заостряя внимание на некоторых темах. Помню, я даже цитировал Федора Сологуба, а он благосклонно поправлял меня там, где я по слабости памяти ошибался. Закончился наш диалог какой-то досадной нелепостью.

Сначала он критиковал мои воззрения на богостроительство по принципу Гектора Свазилендского, а когда я сказал ему, что Бог есть любовь, если он, конечно, есть, он грубо отрезал:

– Бог не есть любовь. Бог есть Бог, однако!

Я нагрубил ему, на что он с явной угрозой в голосе прошипел:

– Дождетесь вы у меня...

И бросил трубку.

* * *

В пятницу, тринадцатого, я обрезал провода, уселся за стол и, проглатывая неразжеванные крекеры, неровным почерком вывел на белом листе бумаги:

«Алексей Толстой как золотой ключик русской контртеррористической операции».

Дальше рука строчила сама собой, а вялотекущая мысль не поспевала за быстрым, но все таким же корявым почерком. Когда в нижней части листа появилось последнее многоточие, рука обессилена повисла, а я с изумлением вчитался в абсолютно незнакомые мне строки. Я был воистину поражен!

Так, должно быть, чувствовал себя гонитель тьмы Даниил Андреев, когда в сырой промозглой камере он, проснувшись в ночи, обнаруживал ворохи бумаг с вдохновенными пронумерованными главами «Розы мира». Он внимательно нумеровал страницы и до самой обеденной баланды, уже успокоившись, гадал – что такое уицраоры, кто такие гуингмы и почему Б. Вавилонской особенное удовольствие доставляет секс с водородной бомбой... Мне было проще. Передо мной лежали стихи, уместаясь ровно на страничке. Поразмышляв, причем тут золотой ключик, я еще раз сосредоточенно вчитался в текст:

*Это правда, что город грустен,
Просто тешится чья-то грусть.*

*Отчего-то от этой грусти
Задрожала и стихла грудь.
Это в мраморном трауре ночи
Кто-то выронил звезды-бусы,
Это день, как больной рабочий,
За собой убирает мусор...*

*Это дремлет в ночи ненастье,
И по городу бродят листья,
Это время, великий мастер,
О картину ломает кисти.
Это весть о моей болезни
Отражается в море синем.
Это звуки последней песни —
Дзинь...*

Я резко отпрянул от страницы – звонок повторился. Трясущимися руками я снял трубку...

– Аллю.

...тупо уставясь на обрезанный провод. В трубке раздался знакомый голос. И прежде, чем я спросил, как ему мои новые стихи, голос простужено хмыкнул, внезапно обдав меня лавиной презрительного хохота.

И сказал он, что это плохо.

Блюдо из Лазо

Саквояж... Салфетки, спирт, скальпель. Шприц.
Что еще? Ах, да! Конечно же, сакэ. Настоящий самурайский сакэ, подаренный...
Кем? Разве это важно...
Где я? Кто я? И почему мне так хочется есть?
Жажда...

Облокотившись о холодный борт ялика, я зачерпнул ладонью воду и попробовал ее на вкус. Соль.

С зеркальной водной поверхности на меня глядело осунувшееся небритое лицо незнакомца. Я уселся на корме, пытаюсь что-нибудь вспомнить... Морская бесконечная гладь. Бездонная небесная синь. Штиль. Мачта без парусов. И нет весел.

Я свесился с бортика и взглянул на затертую белую надпись – «Kudzira Bune». Под английским текстом – мелкие закорючки иероглифов. Нет, в японском я был явно не силен.

В ялике, кроме перечисленного, валялись скомканные газеты, окровавленные бинты, прожженный бушлат.

Я оглядел себя и успокоился – ран не было, хотя ныло все тело. На этом бушлате, видимо, я и провел... Сколько часов? Или дней?

Пошарил в карманах – щепотка вонючего табака и мятый мандат. На обратной его стороне – ничего не говорящие мне буквы:

ЛАЗО Сергей Георгиевич, член Реввоенсовета, Владивосток, 1920.

Я повертел мандат в руках и бросил его на дно ялика. Лазо...

В хирургическом саквояже, помимо всего прочего, оказалась маленькая жестяная банка с желтоватым порошком, весьма противным на вкус. Должно быть, обезболивающее, подумалось мне, и я не нашел ничего лучшего, чем высыпать все содержимое банки в десятилитровую флягу с сакэ.

Странно, я не помню своего имени, но уверен наверняка, что фляга именно с сакэ. И откуда вообще мне известно это слово? Я сделал глоток и мгновенно почувствовал, как уходит голод. Глоток, еще глоток. Тело перестает ныть. Еще...

Я слышал свой смех и видел себя со стороны. Разодранная гимнастерка полетела в неподвижную воду, а с кровоточащей татуировки на бамбуковой сякухати мне играл «Яблочко» сам Сейсю Ханаока, и в глазах его притаилась великая благословенная ложь.

Сэй дзюцу хонгэн тайе кюри рекай синсэй нике ехоки прости меня Господи...

Кожа у человека тонка – пожалуй, всего полфэня. Циркулируя под нею, ярко-красная горячая кровь стремительно течет по кровеносным сосудам, которые переплетаются между собой, как шелковичные черви, плотными рядами ползущие по стенам ханьгу. Кровь разносит тепло.

Этим теплом жертва смущает убийцу, влечет к себе, ищет прикосновений, желая обрести пьянящую радость жизни.

Но стоит ударить острым ножом и пробить эту тонкую розовую кожу, как горячая струя ярко-красной крови стремительно, словно стрела, вырвется из раны и своим теплом обдаст убийцу. Леденеет дыхание, белеют губы, жертва теряет ясность чувств и обретает величайшую, царящую в высях радость жизни; жертва навеки погружается в нее и неземным разумом осознает, что самурай со вспоротым животом, лежащий у подножия Фудзи, и есть тот самый убийца, перешагнувший через тень Бога в поисках белого безмолвия.

Прямо над своим ухом я услышал отборный русский мат, потом – стон. Паровозная топка напоминала огнедышащего дракона. Я заглянул в глаза своего врага, мне стало страшно, затем – жарко, и я очнулся.

Секунду назад я не чувствовал боли, теперь же боль проникала в самое сердце. Я с ужасом смотрел на свои руки, залитые кровью, и не мог понять, что же здесь произошло. Ялик тихонько покачивался на слабых волнах. Штиль...

Превозмогая боль, я дотянулся до саквояжа, извлек из него ампулу спирта, смочил им салфетку и осторожно коснулся изрезанного скальпелем живота. На обработку раны ушло еще две ампулы. Три я опрокинул в себя и замер, зажав живот салфетками. Боль немного отпустила, я осмотрел рану и убедился – порезы не смертельны. Если я пытался сделать себе харакири...

Господи, откуда эти слова? Я даже не знаю их смысла.

...то значит, я схожу с ума. Сколько же я провел времени в этой лодке?

Должно быть, дня два-три, не больше. И как я в ней оказался?

Белая чайка нагло уселась на верхушке мачты, напомнив мне о моем голоде. Сакэ?

Лишь пару глотков...

Вновь провалившись в небытие, я с изумлением наблюдал, как грязный человек, облокотившись о борт деревянного ялика с мачтой без паруса, сделал себе инъекцию, взял в руки скальпель и произвел первый надрез.

По колено ампутировав ногу, он занялся перевязкой. Меня удивило, как ловко он управлялся со сложными медицинскими манипуляциями; все в его движениях говорило о том, что он отменный хирург.

Корчась от боли, он принялся за страшную трапезу, поглощая куски сырого мяса.

Я снова взгляделся в безумные глаза этого русского – мне стало не по себе, жалость наполнила все мое существо. Сделав успокаивающий жест, я раскрыл саквояж, достал шприц и уколол пленника в вену. Кажется, ему быстро стало легче. В глазах появились проблески сознания; через пару минут он окончательно пришел в себя, сказав:

– Я должен передать товарищам...

Голос его был глух, но приятен. Я не мог понять, о чем он говорит, но выслушал до последнего слова. Именно это слово я и запомнил – Лазо.

Оно напомнило мне милые моему сердцу благозвучия из хокку Есио Цунэдзо. Вы должны помнить этого автора, погибшего при испытании своего взрывного устройства.

Я кивнул, повторил успокаивающий жест и развязал ему руки, указав на проносящиеся мимо поезда пространства. Убедившись, что часовые все еще спят на платформе, я перестал подбрасывать в топку уголь. Поезд пошел гораздо медленней.

Сунув трофейный пистолет в карман куртки, я вернул русскому его прожженный бушлат. Он благодарно похлопал меня по плечу и прыгнул вниз. Подбросив в топку угля и обхватив руками драгоценный саквояж, я последовал его примеру. В отличие от этого русского, я даже не упал, мягко приземлившись на мокрую гальку. Поезд медленно удалялся, а впереди мирно дымились крыши Муравьево-Амурска.

До войны я был медиком...

Без ноги я чувствовал себя несколько неуютно, благо быстро адаптировался к боли. Небольшие глотки сакэ придавали мне сил, а звезды, отраженные в безмолвной воде, вселяли надежду. Кто я? Откуда? Эта ночь

не дала мне ответа, но к удивлению своему я вспомнил имя того, кто подарил мне спасительную флягу. Его звали Тое Амаваки, и он очень любил рассуждать о добродетельной сущности пьянства.

Должно быть, он же и дал мне лодку, хотя...

Большого вспомнить я не мог. Спать не хотелось, и на всю оставшуюся ночь я остался один на один со своей амнезией, разбавляя одиночество глотками сакэ.

К утру я доел свою вторую ногу.

– Товарищ Лазо, проснитесь! – я протер глаза, силясь понять, что нужно этому оборванцу. – На станции желтые.

– Что, Семенов опять бузит? – промычал я, потянувшись за маузером.

– Да к черту Семенова, кончили его. Говорю же, желтые!

Оборванец пульей вылетел из хаты. Во дворе раздались выстрелы.

Кто-то закричал, совсем рядом послышался иностранный брех.

– Ну, дела, интервенты, беляки! – я скатился с печи и осторожно выглянул в окно, но тут же отпрянул. Узкоглазый со страшным шрамом на лбу пялился прямо на меня.

Он что-то крикнул своим, и едва я успел спрятаться за печь, дверь с грохотом отворилась, в хату влетела бомба. Раздался неимоверной силы взрыв, и я забыл все, что случилось перед этим...

Я не знал имени моего доктора, не мог понять, почему меня лечат. Но когда в белой просторной комнате появился японский солдат с переводчиком, мне все стало ясно.

Они сказали мне мое имя, сообщили, что я большой русский командир и пытались выведать какие-то секретные сведения, связанные с последним восстанием в Приморье. Поначалу меня не били, затем стали бить. И довели до того самого состояния, когда человек готов продать душу дьяволу, лишь бы его оставили в покое. Но разве я мог что-то вспомнить... Однажды в подвал, куда меня перевели сразу после выздоровления, вошел тот самый узкоглазый со шрамом и через переводчика сообщил, что смерть моя будет страшна, и он дает последний шанс выжить, если до захода солнца я сообщу им требуемое. Естественно, я ничего не сообщил, и с первым же ударом в пах потерял сознание.

Сквозь пелену безвременья меня продолжал сводить с ума нестерпимый лязг вагонных колес.

И я уже не слышал божественных звуков, извлекаемых из бамбуковой сякухати самим Сейсю Ханаокой, а с давней татуировки мне уже не улыбались его хитрые глазки с притаившейся в них великой благословенной ложью.

О, где ты, моя милая небесная Молдавия?

Жажда...

Сквозь слезы я заметил, как из фляги на дно ялика вытекают последние капли сакэ, но нечем было до них дотянуться.

Голод...

Я взглянул на себя со стороны и понял, что есть больше нечего. На корму взобрались две гейши, невозмутимо обмахиваясь веерами.

Я посмотрел в небо и увидел плавающий в облаках мост. На мосту сидел хмельной Тое Амаваки, рассуждающий о добродетельной сущности пьянства. Я помахал ему съеденной рукой и отправился дальше – в страну великой и благословенной лжи.

Должно быть, небо сошло с ума...

Порой мне кажется, будто каждый вечер после артобстрела я сажусь за это одеревеневшее от ужаса войны жалкое подобие стола, сколоченное одноногим Расулом из заплесневевших ящичков, в которых когда-то ждали рамадана «гуманитарные» марокканские апельсины – *НЕ КАНТОВАТЬ!* – и пишу это письмо, полное отчаяния и боли, страха и непонимания. Письмо, в котором мне хотелось бы рассказать своему не родившемуся сыну о тех недолгих событиях, что произошли со мной...

Когда? Какая разница!

Должно быть, это совсем не важно, когда время теряет свой смысл, а смысл ускользает из контуженного накануне сознания, и автономная некогда область сливается с автономной нервной системой.

Я совсем не помню, какого цвета были те двери, не помню, что за слова мухами облепили почерневшие от потерянного времени стены и какие узоры украшали выцветшие обои по левую сторону мрачного коридора грозненской средней школы, наспех превращенной в военкомат. Запомнились лишь печальные лермонтовские глаза, с одинокого портрета провожавшие меня до тех самых дверей, да надпись, что зловеще свешивалась с них.

«Как в стереокино», – подумал я тогда, и надпись, словно потревоженная моей мыслью, с невероятным грохотом обрушилась на меня:

ПОЛКОВНИК СМОГУЛИА, ВОЕНКОМ РЕСПУБЛИКИ

Двери распахнулись. Прежде, чем я сделал шаг в душную комнату, где дурно пахло мужиком, табаком и чесноком вперемешку с армейским гуталином, мне бросилось в глаза испуганное, в какой-то мере даже затравленное выражение лица того мальчика, что сидел в холле у окна, придерживая рукой большую серую кепку, будто опасаясь какого-то мистического коридорного ветра. Должно быть, я нарушил его очередь – и сделал шаг первым.

* * *

Потом был вечер. И была ночь. Были дети, стрелявшие в меня из рогаток. Были камни, больно бившие меня по голове. «Дезертир», – кричали какие-то люди в черном и снова бросали в меня камнями.

Затем был ветер, шел медленный, очень медленный дождь. По его лицу текло нечто горячее, липкое, живое. И звали его Имран... Громко стучали ставни. Нет, должно быть, это эхом в горах отдавали редкие залпы орудий, и пули свистели совсем не у Терека, а там, за далекой родной Волгой. Почему? Имран приподнялся на локтях и тихо сказал, что русских здесь больше, чем одичавших собак. Потом он о чем-то кричал мне в ухо, но я не слышал; я глупо смотрел в надвигающееся на меня небо и со счастливой улыбкой маньяка считал яркие, будто окровавленные, звезды, падавшие на родной волжский квадрат. Их было девять. Ровно девять.

Имран приподнялся на локтях и тихо сказал, что русских здесь больше, чем собак. Он так и сказал:

– Больше, чем собак.

– Аллах Акбар, – беззвучно ответил я и вспомнил, что когда-то меня звали Ваней.

– Ванюша, – ласково, очень ласково позвала мама...

Ей было сорок. Отцу – сорок семь. Она была ветеринаром. Отец – учителем. Она умерла в сорок шесть, отец – в пятьдесят три. Должно быть, они так и не дождались моей «похоронки». А перед тем, как на них обрушился тяжелый ночной потолок, отец дважды снимал телефонную

трубку и угрюмо молчал; еще ровно двенадцать минут в ушах его звучал зловещий южный акцент:

– Как вам спится перед смертью?

* * *

...И сделал шаг первым. В душевной комнате пахло дешевым табаком и армейским гуталином. Полковник Смогулия, военком республики, из-под черного карниза-козырька сверкнул на меня такими же черными безучастными глазами и протянул мне свернутую пополам бумажку. Я вздрогнул. Я чуть отступил назад. Я развернул ее:

Буйнакск, погранвойска.

Я посмотрел на полковника.

– Зови, – поморщился он, кивнув на двери и смачно отрыгнув застоявшейся чачей. Имран был следующим...

Затем шел дождь. Тяжелый, очень тяжелый дождь. И свинцовые капли медленно сползали по моему лицу. Должно быть, это были слезы, но я думал о священном камне Каабы, упавшем с небес, и поэтому не замечал их. У меня были ноги, чтобы снять с них грязные кирзовые сапоги, провонявшие потом и порохом, размотать и забросить в никуда мокрые портянки; у меня были ноги, чтобы стать на колени и предаться молитве, обратившись к Мекке... Но я поднялся в полный рост и, не обращая никакого внимания на свистящие над головой пули, медленно побрел к одинокому буку, что зловещим идолом возвышался над едва видневшимся холодным потоком Хулхулау. Я был уже совсем близко, когда Имран догнал меня.

– Зачем, друг? – спросил он, сжимая мой локоть.

– Я больше не могу, – из моих карманов посыпались гильзы, невнятные свидетели метких попаданий в живую мишень; их было девять, ровно девять. Я вспомнил каждого, убитого мной, и ноги мои подкосились. Через минуту я поднялся, сжимая в руке сорванную зелень полыни.

– Я с тобой, – Имран полюбнял меня за плечи и так, поддерживая друг друга, мы, словно пьяные араваки, побрели к зовущей нас речке.

Потом был плен. Русский плен. Я сидел в грязном подвале кинотеатра имени Челюскинцев и смотрел в развороченное окно, за которым в зловещем полумраке одичавшие дражные собаки, не обращая внимания на редкие взрывы, поедают разлагающиеся трупы солдат. Несколько раз меня вывернуло наизнанку и, блуя в и без того загаженный угол, я вспомнил, что Имран перешел на их сторону. Его матери было сорок...

Я уснул, и со стен Топкапы свесилась жилистая рука Иоанна Крестителя. Освещенный неземным сиянием османских рубинов, благословленный ржавыми клинками мудрых имамов, я пожал эту руку и, должно быть, умер. И привиделась мне чудная страна, где нет ни героев, ни национальностей, ни городов с улицей Энгельса, ни деревень с кишашими в небе «крокодилами». Ко мне приблизились удивленные моим странным появлением звери: куница-белодушка, кабан, ласка и лисица-корсак, – протянули мне доверху набитый конопляной кисет. Я выкурил треть и вспомнил, что Имран перешел на их сторону. Кто эти люди? Когда это было? И с кем?

Должно быть, это совсем не важно, когда время теряет свой смысл, а смысл ускользает из контуженного накануне сознания, и автономная некогда область сливается воедино с автономной нервной системой.

* * *

На вид я дал бы ей пятьдесят. Но она была много младше. Она, шведская журналистка с огромными карими глазами и традиционным северным именем Эльза, сидела напротив меня

все в том же загаженном полутемном подвале и не спеша, мило коверкая слова, хладнокровно рассказывала, как пьяные ополченцы на берегу быстрого Аксая играли в футбол его головой. Голова предателя-Имрана, моего друга Имрана, выпученными, ничего не понимающими глазами с ужасом следила за каждым движением обезумевших от азарта и ненависти правоверных и быстро перекатывалась от одних ворот к другим. В той игре было забито три гола. Ровно три.

Эльза рассказывала и рассказывала, не отводя от меня своего немигающего взгляда, ни один мускул не дрогнул на впавших щеках Эльзы.

А за час до игры, продолжала шведка, уже лишенный семи пальцев и очнувшийся предатель Имран истошно вопил, моля своих палачей о пощаде. Кажется, он кричал: «Только не Аллах Акбар!». Но воины джихада были непреклонны, и через час с небольшим забили ровно три гола...

И я бежал. Бежал от Челюскинцев и Эльзы, бежал от русских и одичавших собак, от засранного подвала и солдатских трупов, от собственнойблевотины и страха. Должно быть, в этот миг с белого облачка смотрел на меня полковник Смогулия, расстрелянный военком республики, и считал дни до высшего небесного приказа.

Я пришел в себя от легкого толчка в спину, чуть приподнялся на локтях, перевернулся, сел, облокотившись о сырую и древнюю как мир стену кинотеатра-мечети, увидел наконец толкнувшего меня человека, сказал:

– Аллах Акбар!

– Воистину Акбар, – глухо проговорил человек и поцеловал меня в щеку. Отстранившись, он указал рукой на траурную процессию, что под трубные звуки Шопена двигалась в нашу сторону. – Ты ведь искал того пацана?

Я ничего не ответил. Я лишь вспомнил открытки из прошлой жизни. Открытки, что присылали мне отец и мать до того, как на них обрушился ночной потолок: величественный рейхстаг со сверкающим полумесяцем на шпиле, выросший на развалинах Капитолия гигантский минарет, зеленые знамена пророка над башнями Кремля, Родина-мать в парандже...

Я закрыл глаза и заплакал. Шопен приближался, Шопен пел все громче и громче. Послышался тихий плач. Я открыл глаза и увидел, что вся процессия смотрит на меня. Сомнамбулой я подошел к гробу и в ужасе отшатнулся, осознав страшный смысл этой войны, найдя в этой войне себя.

Я упал, чтобы встать. Я встал. Я умер, чтобы воскреснуть. Я воскрес. Я сражался с самим собой. Я искал самого себя. Я умер. Я воскрес, чтобы прочесть на своей могиле... Где только шестнадцатый век... Я пожал протянутую мне руку Крестителя... В страну, где нет героев... Имран... Я нашел самого себя...

И все бы ничего, только одним из этих пацанов был я, а второй жив до сих пор. Должно быть, жив.

Настоящая любовь

Медленная, очень медленная лыжня оборвалась на углу двух улиц, безжалостно раздавленная тяжелыми колесами грузовиков. Один из них трижды просигналил Гаврику, тот вздрогнул и нехотя повернул к дому.

У калитки он обернулся – большие, грустно-бирюзовые глазки, вздернутый конопатый носик на раскрасневшемся личике, выбившаяся из-под ушанки конопатая челка – никто не шел вдоль покосившегося забора по заснеженному утреннему тротуару. И мальчик толкнул калитку.

По воскресеньям он всегда поднимался чуть свет, ведь в этот сладкий день маме не нужно было спешить в школу к своим шестиклассникам, а детский сад давал Гаврику редкую возможность ощутить себя хозяином дома.

«Какой из меня хозяин? – думал Гаврик, стоя у низенького окошка кухни, за которым колдовала мама. – Но я ведь так тебя люблю...»

Он стукнул кулачком о стекло – мама не расслышала. Тогда Гаврик снял варежку и костяшками озябших пальцев ударил сильнее.

Шторки распахнулись – Анна Павловна Лосева ласково кивнула сынишке и на запотевшем стекле вывела два странных знака – ЮЛ.

Гаврик непонимающе замотал головой. Мама улыбнулась, стерла надпись, подышала на стекло и повторила – Гаврик радостно кивнул, удивляясь собственной несообразительности. На окошке таяли две знакомые буквы: ЛЮ.

Когда изображение растаяло, мама поманила Гаврика рукой, приглашая на завтрак. Но он отвернулся, и сам не зная отчего, заплакал. Откатившись на лыжах за угол дома, он поскользнулся, ударившись об обледенелую водосточную трубу. Тут же Гаврик скинул лыжи и, потирая ушибленное место, исступленно принялся жевать снег.

Из 298 известных науке способов, которыми люди перестают жить, Гаврик Лосев знал два, усвоив их из учебника истории для шестых классов. С какими именно личностями эти способы были связаны, он, конечно уже не помнил, да и мама после тех стремительных и страшных событий стала регулярно убирать со своего стола все книги, которые могли бы принести их многочисленному семейству несчастье. Все, кроме Главной.

Уже умудренный житейским опытом, связанным с невеселым итогом просмотра «Белого Бима» в «Родине», Гаврик наотрез отказался от первого способа. Чересчур страшным теперь казался он ему, страшным и очень неподручным за неделю до Нового Года – река давно покрылась толстым слоем льда, а от зияющей проруби вместо желанного «навсегда» веяло холодным «никогда». Концом – вместо продолжения. Ответы на вопросы, касающиеся вечности, Гаврик Лосев получил этим летом, сидя на коленях мамы и всем телом впитывая, что обещала самоубийцам Главная книга: НИКАКОЙ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ!

И тогда он решил обмануть Библию. Оно и верно, казалось Гаврику, кто ж подумает, что мальчик, объевшийся пломбира, – самоубийца!? Нет, нет и еще раз НЕТ! Батюшка у маленького гробика отпустит грехи – за папу и за маму, и благословит в последний путь. В бесконечный и светлый. Промчалось лето. Пришла угрюмая зима. Гаврик с мороженого перешел на снег – так, из привычки, окончательно позабыв о своем желании перестать делать то, что называется жизнью. И по всякому поводу и без – жевал снег. Но особенно, когда переживал, а переживал он всегда. Соседские детишки посмеивались над ним:

– Смотрите, Гаврик-то опять снег жрет! Того и гляди, в снежки играть нечем будет.

Гаврик приходил домой со двора, валился на старенький дырявый диван и тихо плакал. А все больше оттого, что не было у него друзей.

– Гаврюшенька, почему глазки мокрые? – Анна Павловна присела на корточки перед сыном, когда тот появился на кухне, взяла за руку и поцелуем согрела каждый пальчик.

Гаврик, успокаиваясь в теплоте материнских губ, тихонечко спросил:

– Мама, когда же елочку наряжать будем?

В тот же миг он вспомнил, как накануне прошлого Нового Года пьяный отец перебил в ящике из-под апельсинов все гирлянды. Это была последняя встреча Гаврика с тем, кто изредка назывался его папкой и дарил шоколадные конфеты с маленькой девочкой в красной шапочке на обертке... Гаврик пожалел, что задал вопрос, и чуть было снова не разрыдался.

– Хороший мой, обязательно будем, – Анна Павловна с нежной грустью погладила его по взмокшим волосам и усадила за стол. – Ты кушай пока, а я тебе сейчас гостинчик вынесу. Завуч, Светлана Петровна просила передать для тебя.

Когда мама вышла, Гаврик попытался вспомнить, когда посторонние люди дарили ему подарки, но так и не вспомнил. Он отодвинул в сторону тарелку гречневой каши, пулей выскочил на крыльцо, набил рот грязным снегом и поспешно вернулся, пережевывая свое успокоительное.

Вошла Анна Павловна.

– Ты покушал?

– Да, мама, – совсем забыв о недоеденной гречке, ответил Гаврик.

– Ну, тогда заходи в свою комнату.

Гаврик недоверчиво взглянул на мать, – та улыбалась, – поднялся со стула, подошел к двери и трепетно коснулся ручки; дверь плавно отворилась, почему-то даже не скрипнув.

Гаврик только и вымолвил:

– Бимка...

Солнечный лучик, выбившись из-за туч, скользнул по стеклу, упал на подоконник и, окунувшись в заросший зеленью безрыбный аквариум, бесноватыми зайчиками заиграл в хрустальных глазках Бимки.

Анна Павловна насторожилась, с болью в сердце вспомнив минувшую весну и три страшных дня, проведенных у холодных дверей реанимации. «Может, напрасно?» – промелькнуло у нее в голове. – «Ведь не забыл же тот фильм...»

Лес коротким эхом повторил несколько раз:

не надо... не надо...

И замолк. А была весна. И капли неба на земле.

И было тихо-тихо.

Так тихо, будто и нет на земле никакого зла.

Но... Все-таки в лесу кто-то выстрелил.

Кто? Зачем? В кого?

Трижды выстрелил...

Может быть, кто-то из охотников зарыл собаку...

И ей было три года...

Весь этот вечер Анна Павловна проплакала, слушая, как Гаврик возится со своим долгожданным пушистым товарищем. К полуночи она заснула беспокойным, чутким сном. Сквозь его зыбкую пелену Анна Павловна почувствовала, как в комнату вошел Гаврик, шепнул что-то доброе Бимке, поставив коробку рядом с кроватью, и забрался к ней под одеяло. Затем поудобнее устроился на подушке, чуть мокрой от слез, и долго еще гладил густые материнские волосы, пахнущие одиночеством и дешевым детским шампунем.

Ощувив тепло, исходящее от сынишки, Анна Павловна, наконец, провалилась в глухую ночную бездну.

И приснился ей удивительный, но пугающий сон.

Будто с белого облачка сорвалась тоненькая радужная гусеница. Но вот это уже не гусеница, а она, Анна Павловна, а рядом – ее Гаврик. Но нет, и не Гаврик вовсе – юный Каракалла, с любовью и мольбой взирающий на нее. Обняла она сына своего, прижала к горячей груди, но вместо слов мудрости стон страсти вырвался и превратился в гром. Помрачнело в небесах – это прекрасная дева с окровавленным отроком спустились в Низейскую долину, всю в золотых соснах и сверкающих елях.

– Кто вы? – спросила Анна.

– Я женщина, как ты. Имя мне – Кибела, – ответила ей грозная богиня богинь.

– Я мужчина, как ты, – ответил ей окровавленный отрок. – Атгис мое имя, сын Кибелы.

Но сегодня я супруг ее.

Анна затрепетала, устыдившись наготы своей пред ликами Вечности.

– Не бойся, Юлия, – сказал ей Атгис. – Благословенна ты отныне во веки веков, да святится имя твое!

– Меня зовут Анна, Анна Лосева, – едва прошептала, и сон развеялся. Гаврик безмятежно спал, с головой зарывшись в каракулево одеяло. Жаркий пот съедал все ее тело, жутко хотелось пить. Она осторожно встала с постели, – «Какая еще к черту Юлия!» – тихонько открыла холодильник и, утолив жажду леденящим квасом, улеглась было вновь. Но, вспомнив о Бимке, поднялась, заглянула в его уютное гнездышко и, убедившись, что с ним все в полном порядке, юркнула в кровать.

И сон поглотил ее.

– Анна Павловна, я возмущена вашим равнодушием по отношению к сыну! Разве вас не волнует его нездоровая привязанность к этой бессловесной дряни? – до учительницы едва доходили слова, извергаемые новой воспитательницей детсада с неостребованной фигурой и физиономией обезумевшего Шекспира. – Гаврик не отходит от него ни на шаг. От обеда отказался – сардельки, видите ли, ему отдал. Это же уму непостижимо: сардельками пичкать игрушку!

– Бимка не дрянь и не игрушка. Он мой друг, – со злостью процедил сквозь зубы Гаврик.

Анна Павловна строго взглянула на сына и, как ни в чем не бывало, принялась нахлобучивать на него изъеденную молью ушанку:

– Он же еще ребенок...

– Но вы-то взрослая женщина. Педагог. Кому, как ни вам, должно быть известно, что подобная тяга травмирует и обезьянивает детей – они дичают! Становятся жизненно пассивны и нелюдимы... Конечно, понимаю – безотцовщина, «я и баба и мужик» и так далее, но лучше бы ему шапку новую купили, чем эту гадость!

– Но...

– Дождетесь, плюнет однажды он вам в лицо из-за такой вот дряни, если будете потакать ему во всем. Дождетесь!

Анна Павловна со вздохом отвернулась от неостребованной фигуры, усадила сынишку в санки и неторопливо покатила прочь по звонкому снегу, не замечая, как Гаврик не стесняясь прохожих лепит неказистые снежки и тут же их выбрасывает, откусывая изрядную порцию холодного допинга.

«И все-таки это счастье!» – подумала Анна Павловна, но так негромко, что даже сама еле услышала.

– Мамочка, не напугай Бимку, он спит, – Гаврик погладил его за пазухой, а когда поднял глаза, обнаружил, что санки-то катятся совсем не к дому.

– Куда мы едем?

Анна Павловна остановилась перевести дух.

– В игрушечный магазин, сынок. Гирлянды на елку выбирать, Новый Год ведь на носу.

Гаврик вздрогнул от неожиданности, промолчал, и весь остаток пути до магазина никак не мог взять в толк, как это Новый Год, такой большой и торжественный, может уместиться на его маленьком курносом носу...

Наутро, с тяжелым сердцем проводив Гаврика в сад, уже в школе Анна Павловна – как бы невзначай – поинтересовалась у своей подруги, завуча Светланы Петровны, не помнит ли та весталки Юлии времен правления Каракаллы.

– Это не весталка, дорогая моя, это мать императора – Юлия Домна. Историю учить надо, – пошутила завуч, дружелюбно похлопав по плечу историчку.

– И чем же она так известна?

– Ну, как тебе сказать!? В сущности, ничем. Разве что, сына своего очень любила... Правда, несколько противоестественно, – с улыбкой пояснила Светлана Петровна.

– Разве материнская любовь может быть противоестественной? – не поняла Лосева.

– Кровосмешение, дорогая моя, кровосмешение! – завуч искоса взглянула на коллегу. – Что-то ты не нравишься мне сегодня. Не заболела ли?

Анна Павловна отмахнулась.

– А как подарок-то, понравился Гаврику? Обрадовался?

– Еще как! – Анна Павловна опустила глаза. – Только странно все как-то. Нехорошее у меня предчувствие.

– Ты, подруга, о плохом не думай. Плохое в прошлом осталось. А теперь иди в класс, звонок через две минуты. А после поговорим...

Целых три дня Гаврик, мама и Бимка жили в любви и согласии. Эти дни действительно были особенными – все уличные обиды сынишки и ночные слезы матери отступили сами собой, мир вокруг уже не казался враждебным и несправедливым. Отстала даже новая воспитательница детсада с физиономией безумного Шекспира.

Для Гаврика это маленькое счастье было и вовсе живым, одушевленным: он до боли в коленках возился со своим маленьким черным комочком, росшим не по дням, а по часам. Иногда Гаврик с трепетом разглядывал новенькие разноцветные домики-гирлянды, доставая из поблекшего комода деревянный ящик из-под прошлогодних апельсинов. Казалось, гирлянды только и ждали своего звездного часа, и до него оставалось совсем немного.

Анна Павловна все не могла нарадоваться на Гаврика, который восхитительно преображался на ее глазах. И так продолжалось целую вечность, чудесным образом поместившуюся в эти три счастливых дня.

А на четвертый день – это случилось накануне Нового Года, когда Гаврик последний раз перед каникулами проснулся в детском саду во время тихого часа – исчез маленький Бимка.

Сначала Гаврик не поверил, что коробка пуста. Он сонно разворошил пушистые одеяльца, перевернул картонную спаленку своего любимца вверх дном – пусто! Потом решил, что Бимка где-то играет рядом, и поскольку все дети еще спали, играет он очень негромко.

Гаврик позвал шепотом: «Бим-ка».

Тишина.

И тут в его послушную головку закралась страшная недетская догадка. Настолько страшная, что морозная бездонная прорубь в сравнении с ней показалась всего лишь недоброй забавой. Уже через секунду Гаврик – как был, босиком и в трусиках – ворвался в кабинет новой воспитательницы и истошно завопил, разбудив самых неисправимых сонь:

– Это ты, я знаю, ты забрала Бимку!

Дикая ярость перекосила лицо воспитательницы. Она в два прыжка покрыла расстояние, отделявшее ее от мальчика, и больно ударила его по щеке.

– Как ты смеешь, щенок? Раздавлю твою гадину!

Победно оскалившись, она бросилась вон из комнаты. Гаврик безжизненно заскулил и повалился на холодный кафель кабинета. Сквозь его мокрые ладошки еле-еле пробивалось тоскливое: Б-И-М-К-А.

Наконец, Гаврик оторвал руки от лица, присел на корточки и уже ни у кого жалобно попросил:

– Отдай... Он без меня не сможет.

И в чем был – в трусиках и босиком – выскочил на заснеженную улицу.

Его нашли поздно вечером, в сугробе, у самого дома. Пушистые хлопья нег засталили улицу переливающимся в свете фонарей ровным саваном, и если бы не дворник, заинтересовавшийся торчащим из сугроба темным предметом, тело Гаврика, возможно, обнаружили бы лишь весной, когда солнечные лучи обнажают страшные зимние трофеи.

Ни в новогодний праздник, ни на Рождество в опустевшем доме Лосевых так и не зажглись елочные огни.

В школе с тревогой ожидали появления Анны Павловны, но когда она переступила порог учительской, даже Светлана Петровна ужаснулась ее виду: грязные спутавшиеся волосы, осунувшееся кирпичного цвета лицо с бурыми мешками под глазами, тряпье вместо одежды. От Анны Павловны несло водкой и прежде, чем она успела выдать «здравствуйте», ее подхватили под руки и отвезли домой.

Светлана Петровна помогла ей принять душ. Утром на работе они появились вместе.

– Сможешь вести занятия? – еще раз поинтересовался директор.

– Да, – сухо ответила Лосева.

Шестиклассники встретили ее с беспокойством, однако первые 10—15 минут ничего необычного в поведении «спившейся исторички» ученики не выявили.

– Что на сегодня задано? Древний Рим... Кто хочет ответить? – Анна Павловна безучастно оглядела класс. – Если...

Вдруг до боли знакомый писк раздался где-то рядом, будто восстав из недалекого прошлого.

– Что? Где это?

Учительница судорожно ухватила за край доски, едва не потеряв сознание: прямо перед ней, на первой парте, у отличника Кузнецова в руках копошился маленький черный комочек.

– Бимка? – шепнула Лосева.

– Что с вами, Анна Павловна? – удивился Кузнецов. – Никакой это не Бимка, это Куджо. И вообще, у него батарейки садятся.

Анна Павловна смерила Кузнецова безумно презрительным взглядом:

– Запомни, у любви не могут сесть батарейки.

Кто-то в конце класса повертел пальцем у виска, и громко, чтобы все слышали, гаркнул:

– Совсем училка спятила!

Школьники весело загалдели. Анна Павловна неловко улыбнулась и опустила глаза.

– Бимка, – повторила она и взяла его на руки. – Что, кушать хочешь?

Под нарастающее улюлюканье шестиклассников она погладила стеклышко и нажала желтую кнопку.

– Ешь, милый. Сейчас уже Гаврик вернется. На лыжах только покатается и вернется. Кушай...

На маленьком мониторе Бимка обрадованно завилял своим электронным хвостом, высветив два зеленых иероглифа.

Анна Павловна опустила на стул, положив перед собой «Тамагочи», и не обращая внимания на галдящую детвору, монотонно стала повторять странные слова, только что произнесенные собственным внутренним голосом:

Когда на сводах Царьградской Софии сквозь белую известку Великой Китайской Стены проступят игривые лики золотых архангелов, пробьет небесная полночь, и Юлия Домна под рождественской елкой поцелует своего уснувшего сына... Однажды уснем и мы. А когда мы уснем и вернемся на Родину, в ту благодатную землю, где боги были детьми, то, может быть, эту райскую елку, всю в поблекших звездных огнях, снова зажгут для нас Аттис и Кибела, наши Папа и Мама...

Синефагия, или Автомобиль, скрипка и немножко нервно

Детям до 16 лет не рекомендуется...

Что это?

Газель обернулась – катафалк умчал новобрачных в кварцевый грот, где зеленая зебра полоснула хвостом Млечный Путь, и из окровавленной раны небес вырвался смысл, лишенный корней крика. А во рту у газели зацвели незабудки.

Андалузия... Валенсия... Кармен...

Долгая проба смерти. И никогда ее тело, неуязвимое в беге.

Стоп? Снято?

А постаревший на целую вечность юноша, которого хоронили сегодня утром, так громко плакал, что пришлось позвать собак, чтобы те заставили его замолчать.

Не живое... Но и не мертвое... Уже черно-белое...

Что же это?

Ах, да! Это KODAK оборвался на двухтысячном кадре, как и предсказывала Библия. Сволочи!

– Стоп! Снято!

Все началось с того самого интервью, которое великолепный Вэл Килмер взял у бледноликого, напудренного тальком Тома в этих роскошных апартаментах «Люксора» на глазах у сотни VIP-зрителей, а закончилось «Котенком с улицы Лизюкова».

Хотя, нет.

Началось все гораздо раньше – с «Андалузского пса» Бюнуэля, что подсмотрел первый полномочный и представительный посол Советской республики в Испании тов. Луначарский в 1933 году, – и не закончится, наверное, никогда. Ведь синематограф бесконечен...

Нацеленные на посла объективы двух «Родин» вспыхнули вечным огнем, зафиксировав факт старческой несостоятельности на его красном, еще не глупом лице, и он, интеллигентно юродствуя перед камерами, уверенно начал:

– До тех пор, пока кино находится в руках пошлых спекулянтов, оно приносит больше зла, чем пользы, развращая массы отвратным содержанием. В реалистическом, подлинно народном искусстве, будут использоваться все технические и художественные возможности кино как НЕТРАДИЦИОННО-НОВОГО средства отображения и познания действительности.

Тов. Луначарский смачно сплюнул в объектив «Родины», развернулся, собравшись уходить. Но остановился, одернул форменный китель, осторожно наклонился к объективу, словно пытаясь разглядеть что-то по ту сторону кино, и из нагрудного кармана со значком «отличник ДОСААФ» извлек аккуратно сложенный вчетверо носовой платок. Снова плюнул – и протер линзу объектива.

– Не так! – он истерично затопал ногами и повторил плевков. В самую цель – еще более смачно!

Воинов отпрянул от белой простыни экрана, которую по старой доброй кинематографической привычке навесил на ковер для просмотра вновь прибывшего из Москвы архива.

– Вы бы, Анатолий Васильевич, еще дворники прицепили на простыне, – утирая большие крупинки пота со лба, пошутил начальник местной культуры Евгеньев. – С «Вольво» бы своей сняли да прицепили.

В прокуренном кабинете почувствовалось оживление, кто-то подавил робкий смешок.

– Понимаете, знатный ценитель черного юмора был мой прародитель, – будто извиняясь за родственную выходку Луначарского, проямлил Воинов. – Шутить очень любил.

– Черный юмор, любезный Анатолий Васильевич, это больше для Африки подходит, а мы с вами в России живем, в Центральной, так сказать, ее части, – Евгений многозначительно описал в воздухе рукой пируэт и продолжил, – хотя и Черноземной. А вот насчет нового средства – это он хорошо подметил, сильно. Так что, будем по-новому познавать действительность?

Представители киноэлиты нервозно заерзали в своих креслах. За окном, будто в ускоренном режиме просмотра, туда-сюда сновали прохожие, по проспекту мчались автомобили, а напротив, у «Рубина», новые конквистадоры намывали золотишко, пряча честные глаза за темными стеклами модных солнцезащитных очков.

Посмотрев на то, как бурно продолжается жизнь, Евгений не замедлил на мажорной ноте завершить свой увлекательный монолог:

– Именно сейчас, когда кинотеатры пустуют, когда обыватель по уши погряз в голубом эфире и видео-болоте, вы должны привлечь его исключительно нестандартными, новыми формами подачи. Придумайте что-нибудь, свершите чудо! Ну, я не знаю – свет там, звук, шоу... Все, что угодно, так сказать, но чтоб через месяц хотя бы этот зал был полон!

Он вновь утер со лба пот.

– Но сначала скажите, как все же полагаете назваться?

– «Пролетарий-Люксор»! – не задумываясь, выпалил Воинов.

– Так, так... Допустим, почему «Люксор», я понимаю (Амон-Ра, фараоны там), но почему «Пролетарий»?

Воинов с досадой взглянул на Евгеньева.

– Как же, Емельян Палыч! Не подумайте, что идем на поводу у коммунистов. Совсем нет, совсем нет. Всего лишь добрая традиция – дед-то мой, было время, корреспондентствовал в меньшевистской газете «Пролетарий» – до того, как министром стал.

– А-а-а, – со знанием дела зевнул начальник местной культуры. – Преемственность, так сказать, дело хорошее. Ладно, валяйте, но учтите: чтоб через месяц зал был полон! Повторяю – ПОЛОН!

Восход солнца в «Долби-стерео»

Для индустрии городских развлечений лето – это мертвый сезон.

Театры на это время закрываются, в кинотеатрах зрителей гораздо меньше, чем зимой. Но «Пролетарий» несмотря ни на что продолжает работать, что называется, на полную мощь: в его залах идут новейшие голливудские картины, а «Интервью с вампиром» сопровождалось небывалым доселе аншлагом.

Анатолий Васильевич Воинов, директор кинотеатра, – единственный из воронежских прокатчиков, кто появился в Дагомысе на июньском всероссийском кинорынке. Оттуда он привез не только новые картины, но и весть о том, что уже через пару недель большой зал «Пролетария» ничем не будет отличаться от столичной суперплощадки «Кодак Киномир». Слово директору:

– Новейшая звуковая система со множеством спецэффектов обошлась нам в круглую сумму; одна установка «долби-стерео» стоит 200 тысяч долларов. Мы пошли на эти потери, зная, что все окупится сторицей. Люди готовы платить деньги, но платить за человеческие условия, а мы их создадим. Билет будет недорог: от 15 до 50 рублей. Лишь в день премьеры стоимость составит 150—200 руб. Однако я уверен, на премьеры к нам будут выстраиваться очереди!

Газета «Сделано в Воронеже».

28.06.99.

Анатолий Васильевич Воинов удовлетворенно взглянул на свой портрет под заголовком статьи и сунул газету в папку. Включил селектор.

– Нина, закажите в «Кристе» 500 афиш. Чтоб послезавтра были готовы; лучшая бумага, лучший цвет! И подумайте с Феликсом над анонсом. Слоган: «Один фильм – одна жертва!» Идею я вам излагал – «жертва», конечно же, в переносном смысле. Да, вы уже дали объявления в газеты?

– Еще вчера, Анатолий Васильевич. Завтра выйдут.

– Хорошо, Нина! Работайте.

Он выключил селектор, открыл дверцу массивного сейфа, извлек оттуда трехлитровку свойского самогона, плеснул в граненый стакан и подошел к братьям Люмьерам, висящим на противоположной стене.

– Ну, что, господа, за успех нашего предприятия!

Воинов чокнулся с акварелью и залпом осушил стакан.

На следующий день во всех воронежских газетах и газетенках появилось небольшое, 12х6, рекламное объявление, выполненное в эстетике черно-белой фотопленки:

«Пролетарий-Люксор» представляет!

Ежедневный показ шедевров мирового кино, пропущенных сквозь призму сверхзвуковой системы «долби-стерео».

Раз в неделю премьеры!!!

ОДИН ФИЛЬМ – ОДНА ЖЕРТВА

Только по воскресеньям всего за 200 руб. вы имеете уникальную возможность испытать те чувства, в которых утопают, сгорают, умирают герои фильма.

Один шанс из ста получить супер-приз, имеющий прямое отношение к сюжету картины, – подарок воронежцам от администрации города!

Воинова не смущала рекламная эксцентрика; он знал, что как бы хорош фильм ни был, привлечь массы он может не только за счет художественных достоинств. Зрители костью лягут у кассы лишь тогда, когда этот фильм шикарно обставишь и упакуешь в блестящую обертку. А если добавить к антуражу, предшествующему премьере, две ложки соуса «чили», ложку провансальского майонеза, чуть русской горчицы, щепотку соли и сдобрить все ядреным перцем, то есть шанс угодить сразу всем. Кино ведь – не икра Йозефа и не рагу «Кусто в Индонезии»; кино – это кино.

А если среди истинных гурманов найдутся строгие хулители экзотических блюд, то они будут молчать, дабы не показаться белыми воронами. К тому же обещанный приз, который достанется лишь одному из ста зрителей, заставит трепетать у кассы каждого, берущего билет. Судите сами, думал Воинов, вы платите 20 рублей за «Фореста Гампа» или «Сонную лощину», вот и получаете правды ровно на эту сумму. Но чтобы поднять уровень правды в количественном отношении, нужно поднять цену на билет. Хотя бы до 200 руб. Тогда и правды будет на 180 рублей больше. И пусть в настоящей жизни все гораздо дороже, а на те же вопросы даются совсем иные ответы, пусть! Я сделаю так, размышлял Воинов, что настоящая жизнь ворвется в душные залы кинотеатров, сметая условности и разбивая границы между кино и явью. А если одной порции правды не хватит?

Прервав его мысли, дверь с визгом распахнулась и в кабинет... («Почему без стука? – пронеслось в голове директора) ...ворвалась запыхавшаяся администраторша. В руках ее коричневела папка и круглилась трубочкой афиша.

– Анатолий Васильевич, это победа! Мы всех обошли по рейтингу, он выше «Юности» уже на 22 процента! – пышногрудая женщина протянула Воинову какие-то бумаги. – Представляете, что будет, когда мы запустим «Люксор»!?

Воинов с неприкрытым раздражением выслушал ее и с силой ударил рукой о краешек стола. Графин вздрогнул. Вздрогнула и администраторша.

– Нина, сколько раз я просил вас стучаться! А вы врываетесь в кабинет, как пьяный партизан в логово врага. Запомните, то, что вы двоюродная сестра губернатора, вовсе не означает, что вам позволено все... Ладно, о рейтинге я и без вас знаю. Что там еще?

– Вот, – Нина, робко отодвинув графин, развернула на столе красочный плакат с изображением неотразимого Лео и несравненной Кейт Уинслет. За спинами влюбленных тонул гигантский лайнер, и море расступалось пред ним.

Над этой траурной идиллией желтым таймсом нависли тяжелые буквы:

«TITANIC»

Чуть ниже: фильм-катастрофа. Реж. Джеймс Камерон.

Сбоку – премьеры 17 июля. Нач. в 21.00.

«Пролетарий-Люксор».

И в самом низу, где волны уже поглотили носовую часть судна, игриво пучились вселяющие надежду слова:

НЕ УТОНИ В СВОИХ СЛЕЗАХ!

– Гениально! – прошипел Воинов. – Немедленно развесить. И закажите еще 500 штук. Нет, тысячу!

Администраторша стремглав вылетела из кабинета, а Анатолий Васильевич в который раз за сегодняшний день прошествовал к сейфу, повторил процедуру с граненым стаканом, наслаждаясь чарующим плеском мутного пойла.

И грезилось ему море.

Покачиваясь, он снова приблизился к Люмберам, чокнулся с холстом и на десяток секунд задержал стакан у раскрытого рта.

– Вот ведь, братья, как бывает. Кино-то придумали не вы, а все лавры вам. Кино-то придумал калужский крестьянин Тимченко – за два года до вас, в 93-м. И назвал он свое изобретение «стробоскопический поноптикон». Ну да ладно, выпьем за тех, кому повезет!

Буль...

Анатолия Васильевича Воинова в этот сладостный вечер изрядно штормило.

Город захлестнула «морская болезнь»!

В пучине вод – тела безжизненных скитальцев. В бесконечном пространстве – ослепительные глубины льда. В небе – несказанная музыка минувшей любви. «Что это? Импрессия накачанного амфитаминном художника?» – спросите вы. «Нет», – отвечу я.

Это атмосфера сказочной были, коей стал для сотни счастливиц «Пролетарий-Люксор» 17 июля сего года. Пучина вод – изумрудный аквариум, где плавали куклы. Лед – это мороженое, которое раздавали бесплатно. А бесконечное пространство – фойе кинотеатра, из всех щелей которого струилась чудесная песня в исполнении Селин Дион... «Титаник» стартовал помпезно и очаровал всех. Обещанный приз нашел себе жертву – студентку ВГУ Олеся Иванову (интервью с ней см. на 17-й стр. нашей газеты). Хотите узнать, что за приз?

Я скажу вам, но постарайтесь не утонуть в зависти: это алмаз. Алмаз «Черный берет», копия того, что был у героини фильма. Студентке его вручили настоящие морские пехотинцы, предварительно с головы до пят окатив ее водой, специально привезенной с Атлантики...

Сегодня, спустя неделю после премьеры, город захлестнула волна титаникомании. Популярная воронежская группа «DJ МММ» для MTV записала клип «Титаник буль-буль», который будет презентован 1 сентября. А во дворах на ул. К. Маркса и Фр. Энгельса (также на набережной им. Буденного) неизвестные поправили боевиков РНЕ следующим образом:

«На небе – Бог, на земле – Россия, а по воде „Титаник“ плыл!» Впечатляет?

Ничего подобного со времен «Четырех танкистов и собаки» никто в редакции не припомнил. Воистину, «из всех искусств для нас важнейшим является кино».

Газета «Сделано в Воронеже».

22.07.99.

– Знаете, Анатолий Васильевич, – размышлял начальник местной культуры Евгеньев, вальяжно сидя в кабинете Воинова и потягивая горячий ром. После премьеры ему особенно хотелось пить, – в чем ваша беда? Все, конечно, здорово, не поймите меня превратно, но вы не до конца прочувствовали завещание, оставленное Герингом. Он писал: «Однажды искусство может выстрелить!» Вы – молодец, вы выстрелили, но холостыми, так сказать.

– Вы что же, Емельян Палыч, хотите, чтоб я вышел на сцену перед сеансом и расстрелял публику из браунинга?

– У вас есть браунинг? – встрепнулся Евгеньев. – Похвально. Но нет, я не хочу, чтобы вы уподоблялись тому недоумку из «Sex Pistols», который устроил пальбу в театре. Я хочу, чтобы за вас это сделало кино – научите его стрелять!

– Но, Емельян Палыч... У нас отличные задумки на ближайшие недели: «Столкновение с бездной», «Осада», «Вирус», «Мумия»...

Евгеньев пристально посмотрел в бегающие глазки Воинова, взял его за подбородок и, вплотную приблизившись к его лицу, произнес:

– Чаплин тоже не любил, когда стреляют. Считал это неинтеллигентным и излишне шумным. Поэтому и выступал против звукового кино. Дерьмо! Евгеньев заржал своим густым неровным басом. Воинов тоже засмеялся, весьма озадаченный высказываниями начальника

местной культуры. И когда тот удалился, Воинов долго еще размышлял над мрачным завещанием Геринга.

Последующие недели в Воронеже промчались под знаком «Люксора». На трех премьерх жертвами страстей пали трое:

– журналист Лев Сергеев, «подцепивший» странный вирус на теплоходе «Александр Волкофф» и ушедший с премьеры с чемоданом, до краев набитым медикаментами – от аспирина Ursa до противозачаточных таблеток;

– доярка из Семилук Элеонора Свиблова, уехавшая домой с шишкой на лбу («Столкновение с бездной» обернулось для нее легкой травмой), но щедро одаренная гостинцами от царя морского Посейдона – надувной резиновой лодкой ценой в 5 тыс.руб. и бесценным спасательным жилетом с пристегивающимся «поясом верности»;

– электромеханик Н., устроивший настоящий скандал во время демонстрации «Мертвеца» Джима Джармуша – представителю вымирающего рабочего класса очень не понравился подарок, полное собрание сочинений Вильяма Блэйка, на русском и английском языках, и что больше всего его возмутило – так это собственноручный автограф классика на титульном листе первого тома.

– Блэйк умер! – кричал возмущенный электромеханик, давая понять, что он отлично знаком с американской поэзией. Обильные цитаты так и сыпались из него, но лишь усугубили дело: его вытурили из «Люксора», когда сообразили, что досмотреть фильм до конца уговорить его не удастся. А книги сожгли прямо на сцене – к восторгу Евгеньева.

– Ура Герингу! – шептал возбужденный до неприличия начальник местной культуры, уверенный в том, что все это заранее подстроено Воиновым. – Да здравствует Джармуш! Вива «Sex Pistols»! Пот-фронт!

Men-in-black: от заката до рассвета

Со 2 сентября в уже ставшем легендой «Люксоре» будет демонстрироваться кровавый порнобред Дарио Ардженто «Синдром Стендаля», но можно ли предположить, что этот фильм привлечет такое же внимание воронежцев, какого удостоился фантастический комикс «Люди в черном»? В американском прокате сборы с картины уже перевалили за 240 млн. долларов.

У нас же в городе фильм является абсолютным лидером по кассовым сборам последнего времени. 18 тысяч зрителей посетили «Пролетарий» на этой неделе. Из-за повышенного ажиотажа «Людей в черном» показывали на шести сеансах в день (даже по утрам!) и трех ночью, хотя билеты стоили довольно дорого: от 50 до 150 рублей. Примечательно, что билетами торговали негры в белых фраках.

P.S. Синдром Стендаля – галлюцинация, при которой человек, находящийся рядом с какой-то картиной, начинает ощущать себя внутри данного полотна.

Газета «Сделано в Воронеже».

28.08.99.

– Нина, я хочу, чтобы при продаже билетов на «Синдром» осуществлялся фейс-контроль, – Воинов хмуро осмотрел подчиненных. – Господин оформитель, я же просил на афише поместить женское лицо, окровавленное женское лицо. А это что?

Воинов потряс в воздухе измятым анонсом предстоящего фильма. С бумаги обреченно взирал на мир обычно глумливый Том Кречман; его разорванный рот был наполнен словами: ТЮРЬМА ДУХА И ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ ПЛОТИ!

– Не молчи.

– Перед тем, как рисовать оригинал-макет, я, естественно, просмотрел матрицу: окровавленным должен быть мужчина, – попытался защититься дизайнер Образцов.

Воинова передернуло.

– Тупые скоты! Я не стану объяснять, почему на афише должна быть женщина. Я приказываю: женщину на афишу! И мое слово – закон. Нет для вас другого закона. Повторяю, Образцов: мне нужна баба! И не воруй слоганы у Грымова – он нам не товарищ.

Нина впервые за четыре года работы видела босса таким раздраженным. Сославшись на недомогание, она спешно покинула планерку, напомнившую ей одну из сцен Фассбиндера в застенках гестапо.

Воинов, закончив пытать дизайнера, устался на законных конквистадоров у «Рубина». «Интересно, – подумал он. – Как же успокаивался дедушка?»

Когда все покидали кабинет, Воинов остановил Феликса, худого, длинного и прыщева-того заведующего отделом маркетинга.

– Феликс, ты знаешь, что такое синефагия?

Тот покосился на настенных Люмьеров, чувствуя в вопросе какой-то подвох.

– Нет.

– Это древнее слово, правильное. Доподлинно – пожирание кино. Ну, знаешь, когда смотришь все подряд, без разбора... Всеядность.

– Я вашу мысль понял, Анатолий Васильевич, – Феликс позволил себе расслабиться. – Вы хотите, чтобы наши зрители лучше и больше кушали. Но мы хорошо их кормим. Я даже считаю, что цены на фирменное блюдо, на премьеры, можно поднять до трехсот рублей.

- Поднимай, Феликс, поднимай. Правда, не о том я сказать хотел.
- О чем же, Анатолий Васильевич?
- Да так... Никак не могу в толк взять, что эти древние египтяне, эти проклятые синефаги, подразумевали под словом кино...
- Что-то вроде движения.
- Воинов задумчиво посмотрел на Феликса:
- Ну а ты-то сам видел «Синдром Стендаля»?
- Конечно.
- И что скажешь? Потянем на триста?
- С «Синдромом» только на двести. Хотя, если обставить как следует...
- Некогда обставлять – даже афиши запороли.
- Анатолий Васильевич, это плохой фильм, – зав воодушевился. – Полтора часа кряду старик насилует сумасшедшую девушку, а затем она полтора часа убивает его. Чушь.
- Ну, тогда я не буду глядеть. Знаешь, посмотреть плохой фильм – все равно, что в вечность пукнуть!
- Феликс залился застенчивым детским смехом.
- Воинов отвернулся.
- Это не я сказал, это Раневская...
- А наутро был готов новый проект афиши. Красным по черному:

«Синдром Стендаля»

Дарио Ардженто – любителям porno-graffity
(белокурая бестия кромсает ножом уродливого старика,
из глаз бестии текут кровавые слезы —
визуальный ряд).
Ниже:
Что в России, что в Италиях —
Лишь тоска по гениталиям...

И искусство выстрелило, но выстрелило оно спермой. В отдельно взятом городском кино-театре. Изнасилованная девушка лет двадцати, придя в себя, рассказала в отделении милиции на Чайковского, что примерно в середине фильма она почувствовала легкий укол в левую руку чуть ниже локтя. Непроизвольно взглянув на соседа, сидящего слева, отметила его пугающую внешность.

На вопрос стража порядка, в чем же заключалась эта пугающая внешность, девушка ответила:

– Я могла видеть лишь профиль мужчины, и в этом профиле не доставало одной существенной детали – у него не было носа!

То, что происходило дальше, она помнила смутно, хотя уверяла, что чувствовала все – страх, боль, унижение, – но ничего не могла поделать, словно была парализована.

Естественно, свидетелей не нашлось. А работники, осуществлявшие фейс-контроль, как один стояли на своем – человека с провалившимся носом они не видели.

Жалкий облик девушки – от порванных и заляпанных колготок до отсутствующих на блузке пуговиц – говорил о том, что она не лжет.

Ее немедленно отправили к медэксперту; через полчаса тот подтвердил факт изнасилования. А взятая на анализ сперма спустя полгода благополучно перекочевала из хранилища вещдоков на ментовскую помойку – идентифицировать ее не удалось.

Злодея не нашли, дело закрыли. Губернатор на очередной летучке в УВД области посоветовал нерадивым сыщикам задержать актера, сыгравшего роль маньяка в «Синдроме Стендаля». Шутке никто не улыбнулся. Кинотеатр на некоторое время закрыли. Официальная причина – демонстрация порно. Так в городе вспомнили о нравственности. А о девушке забыли.

Поспела «клубничка» – пора собирать!

Отныне порнографией в России считаются только сношения с животными, детьми и покойниками.

Это следует из текста закона, принятого на днях Государственной Думой. Что интересно, «натуралистическое и циничное изображение» близости людей старше 18 лет считается просто сексуальной продукцией, распространение которой не воспрещается – даже при «детальном показе половых органов в момент осуществления акта».

Правда, законом устанавливаются некоторые ограничения на оборот «клубнички».

Например, любителям порнотелефильмов придется устанавливать в своих телевизорах специальные декодеры, которые пока практикуются в Воронеже лишь на 4-м канале. Подобное кино будет транслироваться только в зашифрованном виде и строго с 1 до 4 часов ночи.

Кинотеатрам придется пересмотреть свой репертуар и убрать фильмы со сценами половых сношений, которые законом категорически запрещаются.

P.S. Редакция «СВ» поздравляет коллектив кинотеатра «Пролетарий» с официальным разрешением возобновления деятельности!

Газета «Сделано в Воронеже».

24.09.99.

– Спасибо! – воодушевленно промолвил Анатолий Васильевич Воинов, чокаясь с братьями Люмьерами. – Что скажете, Нина?

Он уже не стеснялся ее присутствия – трудности только сблизили их. Как в том фильме...

– А вас не пугает, что из-за ограничений наш рейтинг пойдет на убыль?

– Нет, Нина, не пугает. В советских картинах не меньше насилия, крови и пошлости. Хотя, конечно, жаль, что наложено вето на демонстрацию западных фильмов.

– И в сказках?

– Что в сказках? – не понял Воинов.

– Насилие, кровь и пошлость.

– В сказках, Нина, особенно. Кстати, вы мне подкинули неплохую идею... На которое число назначено второе открытие «Люксора»?

– На первое октября, Анатолий Васильевич.

– Успеем сделать рекламу?

– Мы в рекламе не нуждаемся, – бойко ответила Нина, вытянувшись в струнку.

– Вольно, Нина! Я имел в виду афиши и прочий демо-антураж, без которого никак...

– Все успеем, только что смотреть-то будем?

– Какая вы недогадливая, Нина. Конечно же, вашу любимую сказку. Какая у вас самая любимая?

– «Красная Шапочка».

– Вот и работайте. Объявляйте премьеру. Да не забудьте позвонить Ролану Быкову и пригласить его к нам на первое октября, пусть выступит.

– Быков умер, – Нина опустила глаза.

Воинов с досадой махнул рукой и тихонечко прошептал:

– Сволочь!

Ночью он долго не мог заснуть. Вставал, курил. Снова курил. Наконец, он вспомнил, что хотел сделать – еще накануне. Он подошел к книжным полкам и уставился на ряд с научной

фантастикой. «Онирофильм» – полистал, прочел что-то о виртуальном контакте героя и зрителя. Взглянул на год: 1972. Не то!

«Бог Паутины» Еремея Парнова. Совсем не то!!

«Пошли в кино» – в десятку!!! Филипп Кузен – «Умри показанной смертью»...

Когда Воинов заснул, на часах было чуть больше семи.

Через двое суток в газетах появился новый вариант «люксор-рекламы»:

«Пролетарий-Люксор» представляет!

Ежедневный показ шедевров отечественного кино, пропущенных сквозь призму сверхзвуковой системы «долби-стерео».

Раз в неделю – премьера!!!

Один фильм – одна жертва

Только по воскресеньям всего за 500 руб. вы имеете уникальную возможность хоть на мгновение почувствовать себя героем фильма. Покупая билет, один из вас рискует потерять НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ!

Дальше – совсем мелко – что-то об одном шансе из ста выиграть приз взамен потерянных денег, времени, наручных часов, здоровья, чести и т.д., что воспринялось обывателями как остроумная шутка, не более. 1 октября кинотеатр был набит до отказа.

В буфете нарумяненные официантки каждому предлагали пышущие жаром пирожки, и их красные чепчики плавно скользили взад-вперед. В фойе с мониторов повзрослевшая Яна Поплавская под логотипом «Времячко НТВ» рассказывала зрителям о той своей первой и последней роли в кино, ставшей звездной. А по натертому до блеска паркету ползал отвратительный зеленый крокодил, видимо, символизировавший беспощадного зубастого волка. Над входом в «Люксор» красовался огромных размеров плакат —

«Тамбовский волк тебе товарищ!»

– плюс небольшой портрет ненавистного директору Грымова. На воздушных шариках синела надпись – «Быков forever!»

Во время просмотра никого не съели. Но один зритель, поглощая пирожок за пирожком, на втором часу фильма схватился за челюсть. Ему не было досадно – зубы и так уже догнивали свой век. Зато в начинке пирожка он обнаружил золотое кольцо высшей пробы, хоть и изрядно перепачканное вишневым повидлом.

Два зуба – такова была плата за риск часовых дел мастера 7 разряда Петра Петровича Микулина.

А пока демонстрировали фильм, Анатолий Васильевич сотоварищи на белой простыне экрана просматривал «Школу русалок». К сожалению, это была не порнография, а досадное недоразумение 1947 года. Зато среди угрюмых героев начальник местной культуры Евгеньев заприметил знакомого юношу.

– Кто же это? Откуда я его знаю? – ворчал он, потягивая горячий ром.

– Это Фидель Кастро. В молодости! – Воинов захлопнул «Путеводитель видеомана». – Этот фильм здесь имеется – как раз на букву «Ша».

– Точно! – хлопнул себя по лбу Евгеньев. – Все они сволочи, так сказать.

«Кого он имеет в виду?» – подумал Воинов, но распространяться на этот счет не стал. Он прислушался – за стеной играла скрипка. Он как замороженный открыл дверь и шагнул в коридор, силясь понять, почему музыка доносится из зрительного зала. Когда Воинов вошел в рубку механика и спросил, какое сегодня кино...

(тот ответил, что «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»)

...он твердо решил – с самогоном пора завязывать. Ливанов с новой силой ударил смычком по струнам – Воинов вспомнил Дашкевича; Ливанов оборвал мелодию на высокой ноте – Воинов произнес:

– Как быстротечна наша жизнь.

И пьяный упал на кушетку. Механик лишь хмыкнул:

– Совсем сдурел – так и мечет цитатами из классики. Хотя в «Титанике» были другие слова...

«Овсянка, сэр!» – так говорил Бэримор

Друзья, сегодня мы открываем новую рубрику – «Киноцитатник от «Люксора». Если у вас есть любимая фраза, запомнившийся диалог из фильма, присылайте нам, мы будем очень признательны. Так потихонечку вместе мы соберем «Большую энциклопедию крылатых фраз мирового кино». Почему вместе? Да потому, что призы для вас приготовил знаменитый «пролетарский» энтузиаст А. В. Воинов. Он же и откроет нашу рубрику своими любимыми цитатами.

* * *

– Чего нам бояться? Нас двое, а он – один.
– Да, но у него топор. Раз, два, и нас уже четверо.
(«Бродвей Дэнни Роуза», США).

* * *

– Если я говорю какой-нибудь девушке «милочка», то через 15 минут она уже беременна. («Черная гадюка», Великобритания).

* * *

– Запомни, мир делится на две части: тех, кто держит револьвер, и тех, кто копает. Револьвер сейчас у меня, так что бери лопату.
(«Плохой, Хороший, Злой», США).

*Газета «Сделано в Воронеже»
04.11.99.*

Когда Анатолий Васильевич очнулся, демонстрировали «Берегись автомобиля!»

– Без меня, гады! – зашипел Воинов, напугав механика.

– Вы же сами распорядились, – сказал тот.

– Эх, синефагия... Сожрет она нас всех, – Воинов поднялся и, пошатываясь, направился к выходу. – Без меня справитесь?

– Так точно, Анатолий Васильевич.

Воинов вышел, спустился на первый этаж, поплелся к машине. Билетерши проводили его пасмурными взглядами. Ветер ударил Воинову в лицо, закружил его мысли и предательски прекратился, будто и не дул вовсе. Воинов огляделся – «Вольво» на привычном месте не было.

– Угнали, суки, – безразлично сказал он и сплюнул, точь-в-точь как его дедушка, тов. Луначарский. – Я знаю, это все Деточкин...

После этого случая за Воиновым стали постоянно замечать странности, которых любому нормальному человеку хватило бы на год. Более того, он стал путать фильмы, актеров с актрисами, киностудии, даты... Своих неперемненных собутыльников, братьев Люмьеров, он называл не иначе как Довженкин и Хонжонкин. Евгеньеву однажды прочел гнуснейшую лекцию на тему «Что такое „Понизовая вольница“ и как с ней бороться», уверяя при этом, что первый в России музыкальный клип снят в 1907 году на фирме Дранкова, а песня «Стенька Разин» – суть негритянский блюз.

Все бы ничего, да вот беда – Воинов стал агрессивен. После «Бриллиантовой руки» диким зверем кидался на загипсованных калек, предлагая свое посредничество в обнаружении «клада, так сказать». В случае неосторожного согласия он разбивал гипс, в случае неосмот-

рительного отказа – бил морду. Однако странности скоро прошли: Воинов подлечился и стал самим собой.

Как и при каких обстоятельствах Воинов дал распоряжение демонстрировать супер-хит 80-х «Свой среди чужих, чужой среди своих», он не помнил. Это была одна из его любимейших картин, поэтому Анатолий Васильевич поудобнее устроился в зрительном зале на первом ряду и стал ждать, щелкая попкорном. Наконец, застрекотал проектор. Впервые за долгие годы Воинов почувствовал себя мальчишкой, сопливым мальчишкой, наивным и романтичным; впервые он смотрел кино не как директор лучшего в городе кинотеатра.

Он настолько увлекся происходящим на экране, что сначала даже не ощутил боли в области грудной клетки.

«Опять сердечко пошаливает», – подумал он, хватаясь за бок.

С искренним недоумением он оторвал свинцовую ладонь от липкой, пропитанной кровью рубашки и вспомнил, что случилось 30 секунд назад. А 30 секунд назад кто-то, обращаясь к Богатыреву, истошно завопил с экрана:

– Шилов, стреляй!

И Шилов выстрелил.

The END.

P.S. Если вы хотите знать, что произошло дальше, то будьте уверены, что произошло это не с вами. Хотя, загляните в «Люксор», Газета «Сделано в Воронеже». Там как раз демонстрируется добрый и очень веселый мультфильм «Котенок с улицы Лизюкова»...

Только – смотрите, не потеряйтесь.

Газета «Сделано в Воронеже».

Полет валькирий над мертвым Кремлем

Вы когда-нибудь видели русский стяг, трехцветный российский штандарт, сверху вниз белыми сибирскими снегами стекающий в голубые глубокие воды безбрежной Тавриды, в те, что омывают своими волнами багряные от людской крови и палого винограда берега много-страдальной Кубани?

Людская кровь?! – возможно, вспыхнете вы красными пятаками светофора. Вспыхнете, усмехнетесь, возразите: что нам людская кровь?! Разве есть нам теперь до этого дело?

Я пойму вас – дело вовсе не в этом. Но в очередной раз спрошу: видели ли вы когда-нибудь русский стяг, трехцветный российский штандарт, красными языками пламени лижущий высокие псковские голубятни, из которых стремительно взвились в голубое бездонное небо прекрасные чистые голуби, выпорхнули и унеслись к белым густым облакам, откуда вот-вот на глухие сибирские села выпадет снег. Снег, как последнее напоминание об утонувших в облаках белых голубях?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.